

Александр Вельтман

**Саломея, или Приключения,  
почерпнутые из моря  
житейского**



**Александр Фомич Вельтман**  
**Саломея, или Приключения,**  
**почерпнутые из**  
**моря житейского**  
Серия «Приключения, почерпнутые  
из моря житейского», книга 1

*Текст предоставлен правообладателем*  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=153694](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=153694)

**Аннотация**

«У одного папеньки и у одной маменьки было две дочки. Точка. Не об них дело. Читатель, может быть, встречал где-нибудь Дмитрицкого? Довольно статный мужчина, бледное лицо, зеленые глаза, весь в крестах и знаках отличия, служил и там и сям, был во всех войнах и походах, на суше и на море, во всех странах и землях, всех знает, со всеми знаком... Ничего не бывало! все это ложь! Раскроем наудачу какую-нибудь страницу из его жизни. Вот он едет в столицу искать счастья направо-налево – и все сердится...»

# Содержание

Книга первая	4
Часть первая	4
Часть вторая	130
Часть третья	184
Конец ознакомительного фрагмента.	255

# **Александр Вельтман**

## **Приключения, почерпнутые из моря житейского**

### **Книга первая**

#### **Часть первая**

##### **I**

У одного папеньки и у одной маменьки было две дочки. Точка. Не об них дело. Читатель, может быть, встречал где-нибудь Дмитрицкого? Довольно статный мужчина, бледное лицо, зеленые глаза, весь в крестах и знаках отличия, служил и там и сям, был во всех войнах и походах, на суше и на море, во всех странах и землях, всех знает, со всеми знаком... Ничего не бывало! все это ложь! Раскроем наудачу какую-нибудь страницу из его жизни. Вот он едет в столицу искать счастья направо-налево – и все сердится.

– И тут тройка не везет! да ну, пошел! погоняй мужика-сипа!

– Мужик-сипа ест сыто, барин! – отвечал извозчик.

– Животное! и тот упрекает меня в недостатках! Пустяки, брат, у нас есть капитал.

И с этими словами Дмитрицкий отправил одну из своих рук в один из своих карманов, пошарил в нем, потом перенес в другой, в третий и, наконец, вытащив из недр бокового кошелька, потряс над ухом.

– Где ж он тут, собака?... а!

Вытряхнув на ладонь ключик, потом единственный червонец, он погладил его, как зверка, по шерсти.

– Ключ от прошедшего и будущего богатства; а это – вот он, настоящий червонный! один-одинехонек. Где ж, брат, твои товарищи?... ушли?... экие какие! Ничего! зато какой простор тебе на дне кошелька. Ты, душа моя, у меня заветный, на разживу; ты не какая-нибудь последняя копейка, которую дурак ставит ребром. Тебя я не выпущу из рук; ты – мой аттестат, мое золото, рычаг, движущая сила: без тебя и этого осла не поворишь с места. Эй! пошел! да ну же, погоняй!

– Да погоняю же, погоняю.

– Гони во всю ивановскую!

– Куда же еще гнать, барин! Погонишь, да загонишь; не на один поезд с тобой куплены лошаденки; кормильцев-то других у меня нет!

– Гони, говорю! А не то видишь? смотри!

Мужик обернулся; Дмитрицкий показал ему кулак.

– Экая диковинка: у нас у самих таких пара, барин!

– Ступай, говорю, а не то я тебе дам!

– Что дашь, барин? мы сдачи сдадим.

– А вот что! – сказал Дмитрицкий, показывая червонец, – видел?

– Видел. Эх вы, соколики!

И мужик раскачнулся на облучке, приударил легонько по всем по трем; кони прибавили рыси.

– Ну, видел? Червонный, целиком, без сдачи.

– Эх вы, золотые мои! – прикрикнул извозчик, замотав головой и приподняв пристяжных навскачь.

– Скажи пожалуйста! у него золотые кони! Верно, не все то золото, что блестит. Слышишь, червонный! Ну, во все лопатки, напропалую!

– Сперва поторгуй, барин, тройку-то; да на загон-то я еще и не продам.

– Скажи, пожалуйста! Да он лучше нашего брата знает цену золоту! У нас только то золото, что золото, будь оно чужое или свое; а у него все золото, что его. А хороша у тебя жена?

– Вестимо, что хороша.

– Молода?

– Да не стара.

– Золото?

– Золото-баба!

– Ну, а весело жить?

– Покуда весело.

– Золотые деньки выдаются?

– Слава богу!

– Ну, а барин каков?

– Барин – ничего.

– Золотой человек?

– Золотой, золотой, и сказать нечего.

– Ну, а приказчик каков?

– Приказчик? Приказчиком-то он пообмишулился.

– А что?

– Да так, ничего; про нас хороший человек.

– А не золото?

– Уж такое «золото, что боже упаси!

– Вот тебе раз! Поди с ним! У него все золото; а я думал удивить его червонцем! Полезай, брат, со стыда в карман; посмотрим, как-то ты блеснешь в городе.

Дмитрицкий уложил червонец в кошелёк, кошелёк в карман; а извозчик, затянув обычную песню, поехал обычным шагом; иногда только покачивается на облучке, помотает головой и погладит кнутом пристяжных, чтоб натянули постромки.

Вот и город Москва заблестела на горизонте золотыми маковками; у заставы извозчик приостановился.

– Приехали, барин.

– Куда? – спросил Дмитрицкий, очнувшись от дремоты.

– Да к заставе.

– Неужели?... Ах ты, скверность!.. Ну, ступай, что ж ты стал?

– Пожалуйста подорожную, – сказал часовой.

– Какую подорожную? Ведь подорожную записали; сколько еще раз записывать?

– Когда записали?

– А генерал-то проехал.

– Какой генерал? Никакого генерала не проезжало.

– Вот тебе раз! Не может быть! Что ты это говоришь! Куда ж он девался? Я – его камердинер... отстал... бричка сломалась генеральская; я тороплюсь догнать его... Тут нечего разговаривать!.. Ступай!

– Нет, постой, я доложу дежурному.

– Я сам пойду к дежурному, – сказал Дмитрицкий, – посмотрю в книге; как это можно, чтоб генерал еще не проехал?

И Дмитрицкий, выскочив из повозки, пошел в караульную.

– Да я тебе говорю, что никакого генерала не проезжало! – твердил ефрейтор, следуя за ним.

– Позвольте, ваше благородие, взглянуть в книгу; вот, говорит, что не проезжал мой генерал, а я знаю, что проехал...

– Какой генерал? Как его зовут? – спросил писарь.

– Да вот, извольте посмотреть, вчера или сегодня, – продолжал Дмитрицкий, взяв книгу и просматривая фамилии проезжих. – Бричка сломалась, починили было, опять сло-



малась, принужден был нанять телегу, да такие лошаденки попались... а генералу что ж без меня делать... мундиры все со мной... я думаю, ждет не дождется... еще прибьет, что я замедлил.

– Да как фамилия твоего генерала? – спросил офицер.

– Ну, вот, вот; вот генерал от кавалерии... а тут говорят, что не проезжал. Я знаю, что проехал; вот, с будущим, а будущий-то я, его камердинер... Сделайте одолжение, ваше благородие, пожалуйста солдатика проводить меня к нему для удостоверения, что я действительно его камердинер.

– Это для чего?

– Меня не пропускают через заставу; а его превосходительство, верно, сказал на заставе, что я еду вслед за ним.

– Говорил генерал? – спросил офицер ефрейтора.

– А бог его знает; ведь не мы были, ваше благородие, в карауле; а при смене никто ничего не говорил.

– Так позвольте солдатика, ваше благородие; я же и не знаю, где генерал остановился.

– Можешь и сам отыскать; здесь караул не для рассылки.

– Нечего делать! прощайте, ваше благородие, – сказал Дмитрицкий, выходя. – Подавай тройку! – крикнул он извозчику.

Заставу подняли, Дмитрицкий сел в телегу и на вопрос извозчика: «Куда прикажете ехать?» – отвечал: «Ступай куда прямо!»

– Насилу отделался! – продолжал он про себя, – спасибо

тузу: при тузе и валет много значит; поставил темную – и повезло.

Начав дело с конца, все-таки не уйдешь от начала; а потому мы должны хоть слегка просмотреть первые страницы жизни Дмитрицкого.

Вследствие уроков своего наставника эмигранта почтенный родитель его имел следующие правила: люди добрые – овцы, которых умные стригут; люди честные – ослы, которые за умных людей возят тяжести; а люди трудолюбивые – лошади, на которых умные люди верхом ездят. Матушка его не имела никаких правил и в подражание своему супругу думала, что женщина с правилами – дура, что любовь не что иное, как спиртуозное чувство, от которого пьянеют только дураки. Дмитрицкий в доме родительском был баловень; в какой-то гимназии или в бурсе – шалун и лентяй; на службе – разбитной малый, сорвиголова. Служил он или, лучше сказать, служил-не-служил в уланском полку корнетом. У него была совсем не служебная организация. Кивер набекрень, сабля при колене, темляк до земли, – он любил сначала побушевать; но истинное призвание его было не в одну сторону, а *направо-налево*. С первой попытки он так ловко держал в горсти книгу судеб, называемую колодой, так ловко, по-юпитерски, метал, что вся собратия подрывающих банк восклицала: «Славно мечет! чудно мечет!»

Эти возгласы заложили навсегда банк в голове Дмитрицкого. Для него просто была мука, когда отрывали его *от де-*

ла, не только службой, но и глупым обычаем закусывать, обедать, пить чай и ужинать.

Бросая с досадой карты, он всегда восклицал, вставая из-за стола: «Только и думают, что набивать пузо! точно голодные собаки бегут к корму! как будто нельзя тут же перекусить чего-нибудь!»

Счастье ли не везло Дмитрицкому, или бедовая страсть метать банк до тех пор, покуда он не лопнет, только Дмитрицкий постоянно был оборван. Он не сердился на то, что жалованье его всегда было проиграно вперед за треть; не горевал и о том, что в гардеробе его оставался только старенький мундир с мишурными принадлежностями, годный только для манежа; но он сердился, что явный недостаток в деньгах прекращал игру и ему ничего не оставалось делать, кроме как сказываться больным и, завернувшись в шинель, лежать врастяжку на одре тоски. Сидеть бездельником подле стола, смотреть, как играют другие, и спокойно покуривать трубочку – на это Дмитрицкий был не способен. Когда он начинал жаловаться на голову, то это значило, что у него на квартире чистота и опрятность. На деревянном диване разостлан старый вальтрап<sup>1</sup>; в головах кожаная подушка, выложенная головой; у стенки еловый столик; на окне продутая трубка, а подле нее в жестяной сахарнице табачные окурки, как воспоминание счастливых дней изобилия в табаке. Тут уже нет ни чемодана, ни разбросанного платья, ни рассыпан-

---

<sup>1</sup> Попона, покрывало для лошадей.

ного повсюду вахштафу<sup>2</sup>, ни дыму, в котором можно коптить окорока, ни кухенрейтерских пистолетов, ни солингенских сабель, ни лазарининского ружья, ни охотничьей собаки. Тут только Дмитрицкий, расслабленный душой и телом, наполняет собою пустоту; то положит руки под голову, глаза в потолок; то вскочит, набьет табачных окурков в трубку, затянется, плюнет и снова заляжет. И в самом деле, возможно ли Дмитрицкому показываться на белый свет в полном здравье и тишине души: что стал бы он отвечать на вопрос: «Что ж, брат, банчику?» Не отвечать же: «Что, брат, денег нет!» Да это такой стыд, что ужас. После этого никуда глаз не показывай, чтоб не опросили с сердечным участием: «Что, брат, денег нет? что ж, брат, дудки есть».

К получению жалованья Дмитрицкий выздоравливал; но однажды, во время болезни своей, он надумался и решил, что глупое счастье надо заменить чем-нибудь умным. И вот все время болезни он стал посвящать на изучение волшебной науки, по части превращения *листов*. Эксперименты постоянного совершенствования в науке он производил над помещиками, и, по пословице: «бей сорок, бей ворон, добьешься и до белого лебедя», он зашиб однажды изрядный куш у одного юного агронома. Деньги развивают фантазию и в прохладных душах, с ними непременно хочется летать. Ремонтерство – пресоблазнительное поручение для кавалери-

---

<sup>2</sup> *Вахштаф* – немецкий курительный табак.

ста<sup>3</sup>: подорожная на все четыре стороны, пики» – в Бердичев. Отправился и наш герой в Бердичев. Счастлив. Там-то в Бердичеве, тьма казначеев, тьма ремонтером, тьма понтеров, тьма Эстерок или Эсфирей, Лий, Рахилей, которых называю! Рохли мм, жидок евреев – иудеев – факторов, контрабандистов и талмудистов, панов, панн и паненок, шляхтянок и гардеробянок. Чудо! Корчмы, бильярды, карты, коханки, мазурки, панские реньчки<sup>4</sup> и ножки, сто тысенц дьяблов и цо еще? – больше ничего не нужно, всё есть. Дмитрицкий прибыл благополучно; по обычаю, остановился в корчме, потому что где живет израиль, там нет домов, а есть корчмы: это ряды длинных заездных мазанок с крытыми дворами напролет из грязной улицы в вонючий переулок. Переднюю часть корчмы составляет комната для приезда вельможных панов. Здесь можно присесть на стул, прилечь на канapé, посмотреться в зеркало, выглянуть на улицу, раскинуть ломберный стол, побеседовать с какой-нибудь Рифкой, угодливой хозяйкой в жемчужных мушках, или с Пейсой, ее сестрой, или дочерью, с распущенными кудрями до плеч. И Рифка и Пейса смотрят в глаза и неугомонно допрашивают, не потребно ли чего-нибудь пану: «А может быть, пан покушает чего-нибудь? а может быть, пан чай будет пить?... пан с ромом пьет?... а может быть, пан желает что купить?» Только

---

<sup>3</sup> Ремонтерством в дореволюционной русской армии называлась командировка офицеров для закупки лошадей.

<sup>4</sup> Ручки (польск.).

что пан заикнулся, Пейса уже исчезла, прокричала в нос на дворе: «Хаймэ, Хаймэ!» – и еще что-то по-своему, и жидок Хайм бежит в ряды. Глядь, из какой-нибудь лавки крадется Хайм, а за Хаймом из всех лавок бегут Хаймы, Мошки, Иоски, Абрамки и Шлёмки с узлами. Хайм в двери, и все за ним. Напрасно и Рифка и Пейса застановили двери, хотят припереть на крюк: жида ломят, проталкиваются, кладут на пол свои узлы, торопятся развязывать, и каждый, бранясь по-жидовски со всеми прочими и охудая чужие товары, расхваливает свои и сует их в руки панские.

Этой картины, не только живой, но и писаной, не найдешь даже и в Москве, где некогда, по татарскому обычаю, купцы держали при себе таких сидельцев, которые тянули покупателей к лавке за ворот.

Но мы еще не кончили описания корчмы. Рядом с приемной меблированной комнатой *лежит* небольшая *штуба* хозяйская; здесь две кровати, подле окна стол, в углу печка, подле печки лавка, в другом углу шкаф с посудой, по стенам полки с горшками и плошками. Под заскоружеными перинами лежат Рифки и Пейсы с братьями и сестрами; на печке лежат старой жидовки, а на лавке *наймочки*.

Все остальное протяжение корчмы, от улицы до переулочка, разделяется на отделения для заезжих – вход прямо со двора; каждое отделение разделено надвое печкой, которая таким образом и составляет стену, или перегородку, очень удобную для топки камышом и бурьяном. Втащат несколько

связок длинного камышу, разложат в грубе огонек<sup>5</sup>, воткнут один конец связки, камыш вспыхнет, затрещит, и по мере того, как огонь пожирает, камыш вдвигается в печь. Проглотив связок десять камышу, груба раскалится как нельзя лучше, и вы до самого вечера имеете полное право жаловаться на нестерпимый жар, духоту и в случае слабой головы на угар; а ввечеру можете снова топить или почивать в прохладной комнате.

На дворе корчмы постоянное месиво грязи; это в одно и то же время и конюшня, и сарай, и хлев, и курятник, и помойная яма.

Город – не столица обширного размера, и потому экипажи – лишняя вещь; можно, не уставая, ходить из конца в конец пешком; по сторонам улиц грязь не так глубока, и всегда есть, вместо тротуара, пробитая тропинка; но если вы – смелый кавалерист, то можете оседлать какого-нибудь жид и переехать на нем чрез топь. Впрочем, в каждой корчме можно нанять пару кляч в бричке с дышлом, и какой-нибудь Шлёмка довезет вас и на бал и с балу.

Жидовское местечко – удивительная вещь: это шайка, но не разбойников и не воров. В этом случае каждый жид честен как черт: как черт не убьет, не украдет, но как черт – обманет, проведет, надует, обморочит, соблазнит, раззадорит, и вы почувствуете какую-то тяжесть в кармане и выбросите

---

<sup>5</sup> Грубой, или грубкой, называлась печь для комнатного отопления в отличие от кухонной печи для стряпни.

из него все деньги жиду за дрянь, как черту душу за земные наслаждения.

Кто не жывал посреди израиля, тот не понимает достоинства картин *жидовской школы*.

Вот на лавочке у ворот одной корчмы сидит офицер, в шинели и фуражке; что-то очень смутен; облокотясь на колени, он запустил руки в густые кудри и, как будто насильно похилив голову книзу, заставил ее устремить глаза в землю. Сидит и молчит, не смотрит даже на Пейсу, которая, накинув капотик на одно плечо, стоит подле.

– Вы сердитые такие, не хотите говорить, – сказала она ему с участием.

Офицер молчит.

– Знаю я: пан Желыньски обыграл вас; сказала я, что не играйте с паном.

– Да поди прочь, пожалуйста!

– Зачем пойду прочь? я хочу здесь стоять.

– Ну, стой, да молчи.

– Я только жалею вас, больше ничего; а вы сердитесь.

– Ах ты, Песька! ну, поди сюда!

– Как это можно!

– Ну, поди прочь!

– Где тут квартирная комиссия? – крикнул улан, подъезжая к соседней корчме.

– Улан! какого полка? – спросил офицер.

– Татарского уланского, ваше благородие, ремонтной ко-



манды.

– Кто офицер?

– Поручик Дмитрицкий; вот не допрошусь, где квартир-  
ная комиссия: заготовить надо квартиру его благородию.

– Пустяки, брат; здесь и в месяц не добьешься порядочной  
квартиры; а твой офицер, верно, не остановится в мурье.

– Как можно, ваше благородие; он приказал, если не от-  
ведут хорошей квартиры, так нанять.

– Так нечего и хлопотать, вот здесь есть квартира, лучше  
и не найдешь.

– Поди посмотри, прекрасная, меблированная, с зеркала-  
ми комната, – сказала Пейса.

– Да уж, верно, понравится его благородию, – сказал улан,  
посматривая на Пейсу, – так я поеду, буду ждать его у заста-  
вы.

– Веди прямо сюда; да постой, служивый, ты посмотри, ты  
увидишь, какая прекрасная квартира, мы за постой дешево  
берем.

– Ну, посмотрю, – сказал улан, въезжая на двор и слезая  
с коня.

– Видишь, какая квартира для твоего офицера?

– Славная, славная!

– На-ко, выпей с дороги.

– И квартира славная и хозяйка славная!.. а уж мой офи-  
цер такой, что и квартиру ему подай славную и хозяйку слав-  
ную... ох, да и водка какая славная!..спасибо!

– Если понравилась, так выпей еще... Смотри же, прямо к нам веди, не слушай других...

– Небойсь; да закусить, брат жидовочка, дай чем-нибудь.

– Сейчас, сейчас; вот два бублика.

– Довольно одного. Так прощайте же покуда.

– Офицер твой любит играть, может быть, в карты, так мы ломберный стол поставим, – сказала Пейса.

– И играет, и гуляет, – отвечал улан, моргнув глазом.

– Женатый или нет?

– Какой женатый!

– А богатый?

– Да сорит деньгой; куда их беречь: и поигрывает, и вашу братью задаривает... щедрый, нечего сказать! Ну, поеду на-встречу.

– Прямо сюда, да не ошибись. Я пошлю фактора на заставу... Хаймэ! гэ!

Пейса что-то пробормотала, и Хаймэ побежал за уланом.

– Хвалит своего офицера, – сказала Пейса, выходя за ворота, – в карты играет...

– Э?

– И богат; вот и играйте с ним.

– Э?

– Да; со своим братом офицером лучше вам играть; а эти паны в париках – шулера.

– Э?

– Да, я вам говорила.

– Э? Сидоров, дай трубку.

– Трубку-то я подам, сударь, да пустую.

– Табаку нешто нет? Поди возьми у Соломона фунт.

– Поди возьми! – бормотал косолапый кавалерист-денщик про себя, отправляясь в лавку, – пожалуй возьму; мне что! я поди возьми, так сам не будет отвечать... Эй, давай фунт табака барину.

– Фууунт?

– Да, фунт! сказано фунт, так фунт. – У тебя карбованный али сто?

– Да, сто! как бы не так!

– Давай деньги.

– Поди у барина возьми, он тебе даст.

– Даааст? а у барина деньги есть?

– А у кого ж и быть деньгам, как не у господ? Ну, давай же или сам неси; барин велел фунт табаку принести; ну и ступай.

– Велел?

– Говорят, велел; ступай, он, чай, расплатится с тобой.

– Расплатится?

– Стало быть, расплатится, когда велел целый фунт приносить.

– Пойдем, пойдем.

– Пойдем.

Между тем офицер, не дождавшись табаку, отправился по соседству, корчем через пять, к пану Желынскому.

Пан Желынский был знатный игрок, старый пес в рыжем парике, с преотвратительной наружностью. Все знали его ремесло, говорили ему в глаза: «Ты, пан, шулер! с тобой нельзя играть!» Он на это издавал звук: «хэ, хэ, хэ, хэ?», садился за стол, высыпал горсть червонцев, разламывал звучно обертку колоды, раскидывал ее, как веер, и, пропустив с треском карту в карту, клал тихо на стол и произносил: «Не угодно ли?» На это магическое слово ничего нельзя было отвечать, кроме: «Угодно!»

– Пан, реванж за тобой, – сказал офицер, входя в квартиру пана, который играл в это время на скрипке вариации Плейеля<sup>6</sup>. – Отыгрываться я не хочу; а будем играть пополам.

Желынский, положив скрипку, посмотрел вопросительно на офицера.

– Ну, пан, хочешь вместе, идешь на половину?

Желынский отдул губы и сделал знак, что он не понимает этих слов.

– Послушай, пан, ты со мной не церемонься; ты меня обдул, а я тебя отдую, мне все равно; я проиграл тебе ремонтные деньги! Ты должен меня вывести из беды.

– На чужие деньги не должно было играть.

– Знаю я сам это; да ведь ты, бес, попутал меня; так и распутывай.

– Но... с кем же играть?...

---

<sup>6</sup> Плейель Игнац (1757–1831) – немецкий композитор. Его квартеты для скрипки и фортепианные сонаты пользовались широким распространением.

– С кем?... Э-гэ! колокольчик!..

И самом деле колокольчик звякнул, на улице хлопанье бича ближе и ближе.

Желынский и офицер бросились к окну.

Дмитрицкий катил в роскошной коляске, прислонясь к боку; белая фуражка, по обычаю, набекрень.

– Какая прекрасная венская коляска! Кто это такой?

– Вот выигрывай, пан, эту коляску.

– Хэ, хэ, хэ! не худо бы. Здесь, подле, остановился; надо бы узнать, кто такой. Яне! гей, Яне!

– Не беспокойся, это мой сосед. Хочешь с ним познакомиться?

– Почему ж не так, всякое новое *замечательное* лицо составляет особенно приятное знакомство.

– Так приходи же ко мне через полчаса, слышишь?

Желынский кивнул головой в знак утверждения, а офицер отправился к себе.

Дмитрицкий был уже встречен Пейсою и охорашивался в зеркале.

– Какая ты миленькая евреечка! а?

– Нравлюсь я вам?

– Да как же? чудо что за глазки! а?

– Вам, может быть, чаю угодно? у нас самый лучший чай.

– Чаю, чаю! о, какая хорошенькая! тебя как зовут?

– Пейса.

– Пейса!

– Позвольте, я сейчас принесу чай; как прикажете: с самоваром подать или просто?

– Как хочешь.

И Пейса вышла торопливо в свою комнату собирать чай.

– Чудо жидовочка! – повторил Дмитрицкий, расхаживая по комнате и крутя усы, – а городишко, кажется, не лучше Могилева... а я думал черт знает что!..

– Прикажете сливок и сухарей, или с ромом будете пить? У нас ром самый лучший, ямайской.

– С чем хочешь... Поди, поди сюда!

– Сейчас, я только приготавлию чай.

– Плутовка!.. Сергей! эй! Сергей!

– Сейчас. Самовар ставлю, – отвечал денщик со двора.

– Скорей!

– Самовар ставлю!

– Кто тебя просил? дурак!

– Да сами же сказали, чтоб сейчас же самовар был готов.

– Не нужно! здесь есть чай готовый...

– Не нужно! а я наставил... Готовый! какой тут жидовский чай – труха! а деньги дерут такие, что...

– Ну, молчи!

– Да зачем же изволили покупать самовар? Сами говорили, что от жидовского чаю с души воротит. – Молчать!

– А по мне что – меньше хлопот! не я его пить буду!

Пейса принесла чай точно в таком же виде, как подают и в русских трактирах.

– Налей же, Песя; сама угощай меня!

– Вы сладко любите?

– Сладко, милочка; так сладко, как... понимаешь? Да сядь, хозяйничай как должно, а я сяду подле тебя...

– Как это можно!

– Ну, я не буду пить; мне скучно одному пить.

– Пейса! Пейса! – раздался голос подле дверей.

– Позвольте! постоялец наш пришел, верно, требует чаю...

– Кто такой постоялец?

– Драгунский офицер. Ему здесь отведена квартира.

– Экой счастливец!

– Он скоро едет; попросите его, чтоб он передал вам свою квартиру.

– В самом деле!

– Пейса! чаю давай! – крикнул офицер, входя в комнату, не обращая внимания на Дмитрицкого.

Надо сказать, что в корчмах приемная комната то же, что в гостиницах общая зала. Если в корчме есть какая-нибудь заманчивая Пейса и никто из приезжих не занимает этой общей залы, то офицерство на прогулках заходит в нее и требует, у Пейсы чаю, кофе и поцелуев.

– Я вам пришлю чай в вашу комнату, – сказала Пейса, – здесь они стоят.

– Ах, извините, – сказал офицер Дмитрицкому, – я не знал, что у меня есть сосед.

– Сделайте одолжение, рад познакомиться, тем более, что я имею к вам просьбу. Мне вот жидашечка сказала, что вы скоро поедете отсюда и ваша квартира опростается. Я бы желал занять ее.

– И прекрасно! в самом деле, вам нечего хлопотать в квартирной комиссии; а признаюсь вам, это истинная комиссия добыть здесь порядочную квартиру.

– Сделайте одолжение, не угодно ли вам чаю?... Я церемоний не люблю; прошу и со мной без церемоний...

– Это и прекрасно!

– С ромом изволите?

– Немножко.

– Может быть, вы любите пунш?

– Э, все равно. Вы надолго приехали?

И так далее, обыкновенный офицерский разговор, который был прерван приходом денщика Сидорова с Соломоном и с табаком.

– Вот, сударь, сам принес табак, – сказал Сидоров.

– Дурак! тебя кто просил сюда? не мог подождать? Покажи табак!.. Изрядный! Вот это изрядный табак! Верно, нового привозу; а то такой скверный отпустил, что я хотел тебя проучить, заставить сто раз прийти за деньгами. Завтра принеси еще три фунта этого же самого. Пошел!

– Васе благородие...

– Ну, пошел, нечего оправдываться!

– Что ж, васе благородие...



Слова жиды были прерваны приходом Желынского.

– Я думал, что пана Рацкого дома нет, – сказал он, обращаясь к офицеру. – Я принес долг... кажется, пятьсот пятьдесят рублей?... Вот три двухсотных.

– Что ж это? пятьдесят рублей сдачи? Ну, я сдачи не люблю давать: штос, на две карты<sup>7</sup> – и кончено: четыреста или все шестьсот. Пойдемте ко мне; здесь их квартира.

– Ах, извините, я не знал, – сказал Желынский, обращаясь к Дмитрицкому.

– Не угодно ли и вам ко мне?

– Да для чего ж, господа, переходить с места на место, – сказал Дмитрицкий, – я очень рад, что имел удовольствие познакомиться, прошу вас быть как дома; если угодно, я велю подать карты.

– Нет, я играть не буду, – сказал Желынский.

– Кто это такой? – спросил Дмитрицкий тихо у Рацкого.

– Помещик, богач каналья, я его немножко наказал... Я сам играть не хочу; но штос на квит – не игра.

– На квит, пожалуй.

– Пейса, подай карты.

– Вы откуда изволили приехать? – продолжал Желынский, обращаясь к Дмитрицкому.

– Из-под Могилева.

– На Днепре или на Днестре?

– На Днепре.

---

<sup>7</sup> Штос – азартная карточная игра.

– Я там не бывал.

– Маленький город.

– Ну, пан Желынский!

– Позвольте, я сам мечу.

– Пожалуй!.. Идет на квит... Ах, проклятая десятка!..

идет на сто... баста!

– Это ужас! – вскричал Желынский, бросая карты. – Терпеть не могу этот штос!

– Зачем дело стало, – банчику!

– Нет! покорно благодарю! да еще против одного!..

– Извольте, я тоже приставаю, – сказал Дмитрицкий, – надо же что-нибудь делать: я смотреть не люблю.

– Охо-хо! гроши мои, гроши! – сказал вздыхая Желынский, высыпая на стол из кошелька сотни две червонцев. – Новые карты!

Началась игра. У Желынского точно как будто колода никогда в руках не бывала. Так глупо держит, что все карты видны. Дмитрицкий думает: «Такого олуха не трудно обыграть!» Подсмотрит карту, – аттанде! и поставит на хороший куш, да еще примажет. Разгорелся, подымает выше.

– Отвечаете? – вскричал он наконец, поставив темную.

– Отвечаю! – с досадой отвечал Желынский, – отвечаю до десяти тысяч!

– Аттанде! отвечаете?

– Отвечаю!

– На все!

Желынский приостановился, казалось, струсил, руки задрожали...

– Мечите!

Направо, налево, направо, налево... Ух! Дмитрицкий разбил кулак, ударив по проклятой карте, которая ему изменила; в глазах затуманило.

– Позвольте сосчитаться, – сказал Желынский, потирая руки и положив колоду на стол.

– Это черт знает что! – вскричал Дмитрицкий. – Ах, дурак! сам себя надул! так глупо ошибиться! – прибавил Дмитрицкий про себя, – это удивительно!

– Что ж тут удивительного, что из пятидесяти карт, которые я вам дал, выигрываю одну?

– Да эта одна стоит тысячи! – прибавил Рацкий.

– Нет, не тысячи, а восьми тысяч четырехсот, – отвечал хладнокровно Желынский, сосчитав выигрышные Дмитрицким тысяча шестьсот рублей и вычитая их из десяти тысяч. – Рассчитаемся.

– Нет, мы будем играть еще! – вскричал Дмитрицкий, потирая лоб.

– Нет, баста! за вами восемь тысяч четыреста.

– Что ж вы думаете, что у меня денег нет? – сказал с сердцем Дмитрицкий, схватив шкатулку и отпирая ее. – Вот ваши деньги!

Для уплаты восьми тысяч Дмитрицкий должен был прихватить сотни, две из ремонтной суммы. Дрожь проняла его.

– От реванжа я не откажусь, – сказал Желынский, взяв деньги, – но завтра.

– Завтра не играю! – сказал Дмитрицкий.

– Как хотите, сегодня не могу, мне в голову ударило от удовольствия выиграть хоть одну порядочную карту: я так несчастливо играю. До свидания.

– Прощайте!

– Животное! обрадовался, что выиграл восемь тысяч! – сказал Дмитрицкий, когда Желынский вышел.

– Хм! да! ужасная скотина!

– Так глупо проиграть, как я проиграл, ни на что не похоже! Проиграл такому ослу!.. это ужас!.. Вы видели, как он держит карты?... Все виднехонько! Его можно бы было обобрать до нитки; но я не хотел пользоваться этим, в доказательство мой проигрыш, черт знает что!

– Да, да! – отвечал Рацкий, зевая.

– Давайте по маленькой, от нечего делать.

– Пожалуй, только мне нужно сперва сходить в дежурство... Я через полчаса приду.

Через полчаса Рацкий действительно возвратился; сели играть по маленькой, играли за полночь; но у Дмитрицкого тряслись руки, и пальцы не в состоянии были исполнять его требований. Игра кончилась ни на чем.

Дмитрицкому не спалось; всю ночь продумал он о глупом тузе, который лег вместо левой на правую сторону. На другой день он отправился отдать визит Рацкому и предложил ему

пригласить олуха к себе.

– Надо же отыгаться!

– И пусть он опять мечет банк.

– Да, да, да, именно!

Желынский не замедлил явиться; но, начав игру, долго не распускал хвоста у колоды. Игра не клонилась ни на ту, ни на другую сторону.

– Славная у вас коляска, – сказал Желынский.

– Не дурна.

– Что заплатили?

– Три тысячи.

– О-го! но стоит этих денег, бесподобная коляска!

– Хотите выиграть в четырех тысячах?

– Э, нет, в трех с половиною, пожалуй!

И Желынский, как будто невзначай, выказал валета, третью карту снизу. Дмитрицкий не упустил заметить ее, поздержал талию ставками и, когда три валета выпали, крикнул: «Аттанде! мазу коляска!» Направо, налево...

– Черт знает! – вскричал Дмитрицкий, – вы, сударь, передергиваете!

– С вами играют, милостивый государь, благородные люди, вы забываетесь! Я с вами давно уже играю, господин Рацкий: заметили ли вы, что я передергиваю?

– Полноте сердиться! господин Дмитрицкий так только сторяча сказал; кому не досадно проиграть два такие куша!

– Однако ж я не выходил из себя, когда проиграл вам тре-

тьего дня две тысячи.

– У вас характер, у господина Дмитрицкого другой.

Дмитрицкий иступленно ходил по комнате. Коляска ему нужна была для представительности...

– Милостивый государь, я коляску вам не отдам, я плачу вам за нее тысячу рублей, то, что сам заплатил.

– Это прекрасно! Вы сами заплатили за нее три тысячи; она шла в трех с половиной. Извольте, я за три тысячи отдаю назад, уступаю пятьсот рублей.

– Я у вас покупаю ее.

– Она стоит мне три тысячи пятьсот.

– Угодно тысячу двести? Вам никто за нее больше не даст.

– Она не продажная; я сам в ней поеду.

– Угодно полторы тысячи?

– Полторы тысячи деньгами, пенковую вашу трубку да шкатулку.

– Трубку? шкатулку? ни за что!

– Отдавай, пан, за полторы тысячи, – сказал Рацкий.

– Ну, так и быть.

Дмитрицкий со вздохом достал из шкатулки тысячу пятьсот рублей и бросил на стол. Это уже был второй заем без процентов и без всякого обеспечения.

Но читателю, верно, надоел Дмитрицкий. Оставим его покуда делать что хочет; расскажем что-нибудь другое.

## II

У одного папеньки и у одной маменьки были две дочки. Точка. До них не дошел еще черед. Жил-был старик со старухой, в Москве, древнепрестольном граде, в котором житье старикам и старухам. Старик был отставной капитан, следовательно, старуха была отставная капитанша. Жили они со времен екатерининских пенсионом, состоявшим из двухсот рублей. В первые годы отставки старик и старуха считали себя обеспеченными навек.

– Слава богу, – говорила старуха в 1789 году, – двумястами рублей можно пожить в довольстве и роскоши: двадцать пять рубликов в год квартира, рублей по десяти в год нам на одежду, за пять рублей в месяц можно иметь сытный стол... Сколько это, батюшка, составит? Считай!

– Сколько ты, матушка, сказала?

– Экой какой! клади двадцать пять за квартиру.

– Постой, счета возьму. Ну, двадцать пять за квартиру.

– Десять да десять на одежду.

– Куда ж мне, матушка, десять! Мундир мне прослужит еще лет пять; четыре рубахи в год не износишь – рубль шесть гривен; пара сапогов рубль – вот и все: два рубля шесть гривен; тебе – другое дело, мало ли: пара платья, салоп, чепчик...

– Пара платья! довольно и одного новенького в год. Сит-

цевое, например, или коленкоровое: пять аршин, ну, хоть шесть, в четыре полотнища, по шести гривен аршин – три рубля шесть гривен; а понаряднее, флоранской тафты<sup>8</sup> – пять рублей. Салоп немногим чем дороже, да зато уж лет на десять сошьешь хорошую вещь – жаль носить.

– Ну, положим нам обоим двадцать рублей на платье. Еще что?

– По пяти в месяц на стол.

– Шестьдесят. Всего сто пять рублей.

– Кухарке в год восемь рублей.

– Восемь.

– Чаю и сахару в год много на пятнадцать рублей.

– Не много! Один Иван Тихонович выпьет рублей на пять, да и Матрена Карповна придет в гости, вторую не покроет!

– Ах, батюшко, жаль стало; да что бы мы стали делать, кабы хорошие люди к нам не жаловали хоть на чашку чаю!

– Ах, матушка, слово молвится не в упрек. Всё?

– А сколько всего-то?

– Сто двадцать восемь; смотри-ко ты!

– А на говенье-то, священник с крестом придет – положил?

– Да ты, матушка, не сказала.

– О-ох, Иван Леонтьевич, ты словно не христианин. Клади смело десять рублей.

---

<sup>8</sup> Флоренская тафта – сорт легкой шелковой ткани преимущественно черного цвета.



Вот таким-то образом рассчитывали старик со старухой пятьдесят лет назад.

Квартирка у них была такая уютная, что чудо! Так все установилось и улеглось в ней к месту! Как войдешь – кухонька, всё в исправности: горшки, ухваты, уполовники, чашки, посуда столовая; на печке спальня кухарки; из кухоньки в гостиную; в гостиной комод с шкафом – тут чайная посуда, серебро, чайные ложечки, счетом двенадцать, вставлены в местах на верхней полке. Тут канапе и дюжина стульев, обтянутых кожей. В переднем углу образ, перед ним лампадка. Стены оклеены зелеными обоями; по стенам в черных рамках картины: царь Иван Васильевич Грозный, четыре времени года и разные птицы, выделанные из перьев, наклеенных на бумагу. У стен большой сундук, ломберный столик, над столиком круглое зеркало; в двух окнах клетки с чижами, по сторонам коленкоровые с плетеной бахромой занавесы.

Из гостиной – спальня; общее ложе старика со старухой под миткалевыми занавесами; тут же лежанка, на которой сохнет запасная голова сахару; подле кровати, на гвоздях, платья, салопы и прочее, покрыты простыней; белье в комод, шубы в сундуке, обвернуты также в простыни и переложены от моли табаком. Подле окна столик овальный с вырезом и бронзовой окраиной, перед столиком креслы Мавры Ивановны, в которых она обыкновенно сидит и вяжет чулок или перед праздником, надев очки, читает священные кни-

ги, а в праздник, если никого нет, раскладывает пасьянс.

Далеко они не распространяют свое знакомство; но со всеми соседями знакомы, не пренебрегают никем; Мавру Ивановну навещает и попадья, и дьяконица, и купчиха Акулина Гавриловна, и магазинная приставша<sup>9</sup>, и иные; она их угощает и чайком, и орешками, и яблочками; зато и ей у них почет и угощение всем чем бог послал. У Ивана Леонтьевича также не без знакомых, то сам в гости пехтуром, то вместе с сожительницей. К обедне, к вечерне, ко всенощной, к заутрене, — смотришь и нет времени на скуку.

Надо знать, что Мавру Ивановну знала и старая княгиня — соседка и часто в церкви выговаривала ей, что редко у нее бывает. А когда приходила Мавра Ивановна к княгине, то, как свой человек, засидится у нее за полночь, и ее отвезут домой в княжеской карете.

Таким образом старик со старухой жили, не горюя ни о чем, до нового столетия. С новым столетием как будто что-то переменилось в их жизни, как будто стало недоставать двухсот рублей в год. Старый дьячок, у которого нанимали квартиру, умер; а новый дьячок говорит, что времена уж не те и нельзя отдавать трех покоев в год за двадцать пять рублей: что, дескать, ему дают пятьдесят рублей. Куда ни обернись — деньги как будто поусохли и рубль отошал, а на копейку и на грошик никто и смотреть не хочет, подай, говорит, пятачок. Соседи повымерли, а новые соседи как будто и не сосе-

---

<sup>9</sup> Жена пристава, надзирающего за магазинами.

ди. С старухой и стариком никто слова не промолвит. Дотянули кое-как до двенадцатого года – с ним кончилось и благоденствие старика и старухи. Французы идут! Народ бежит из Москвы; побежали и они за народом. Где люди остановятся, тут и старики. Пенсии неоткуда получать, денег нет; что вынесли на плечах, – пораспродали. Пробились кое-как два месяца. Воротились в Москву, и ни у кого так не плакалась душа по Москве, как у них.

Уж бог только ведает, как прожили они до тех пор, покуда все поустроилось и Иван Леонтьевич получил сперва вспомоществование, а потом и пенсию. Да что ж, почти половину подай за угол; бывало, – не далеки времена, – копеечного калача и на сегодня и на завтра, да и на послезавтра достанет, а тут вдруг с девятью копейками – с денежкой и к лотку не подходи. Все во время нужды и беды выросло; а уж что выросло, того, верно, не понизить. С дешева на дорого – нужда велит; а с дорога на дешево никто не велит.

– Ну, матушка, доносил мундир, в котором родился, пора в чистую, – сказал, наконец, Иван Леонтьевич, умаявшись жизнью, и – отправился на тот свет.

Оплакала, похоронила его старушка, да еще как похоронила! По сию пору рассказывает, как без копеечки похоронила своего сожителя и как, по милости божией, живет половиною мужниной пенсии. Как бы, кажется, прожить ста рублями целый год в довольстве, не нуждаясь в людях? Живет. Приходите в гости к Мавре Ивановне, она еще вас и чаем на-

поит, своим собственным, купленным из ста рублей пенсии. На эту же пенсию она содержит у себя и кота Ваську. Кот Васька – не пустая вещь, с ним также подчас можно провести время и побеседовать. Мавре Ивановне как-то веселее, когда Васька лежит у нее на коленях и курнычет, или, проголодавшись, вскочит, вытянется верблюдом и мурлычет, ластится, трется около Мавры Ивановны, толкает ее под руку и не дает вязать чулок, или сядет на окно, начнет обмываться и захрапит песню.

– Для кого это ты моешься, Васенька?... а?... гости будут, что ли?... Да кому быть-то?... разве Степанида Герасимовна?... Где ж ей быть в такую погоду... Видишь, распелся, и горя себе мало... Ну, ну, ну, брысь! не люблю, как ты начнешь толкать под руку, когда я чай пью!.. Того и гляди, обварю кипятком, и, избави бог, еще и чашку выбьешь из рук. Чашка-то покойного Ивана Леонтьевича!.. только и осталось памяти!.. о-хо-хо! от целой дюжины одна-одинехонька!.. Что, не думаешь ли, что молочка дам, как бывало?... Нет, Вася! молочные-то дни уже повыхсохли!.. погулять захотел? ну, ступай, ступай!.. Чу! мяучит! Нагулялся? ох ты, проказник! Одно-то ты у меня утешение осталось; по-ди, я тебе щец налью. Не хочешь? Ну, честь приложена, от убытку бог избавил.

Мавру Ивановну можно было назвать молоденькой старушкой. На плечах лет восемьдесят, а она легко их носила, как будто это долгое время совсем ничего не весило. То ли

дело в старину! Какое доброе чувство лежало на сердце, даже к окружающим вещам, не только что к людям. Язык еще не грубиянил, произносил: «Какой выдался нынче денечек; подвинь-ка, Дунюшка (Дунюшке леть шестьдесят), стулик-то ко мне; подай, голубушка, ложечку. Дай-ко стаканчик водицы, испить хочется». – «Не лучше ли кваску, матушка?» – «Нет, уж лучше чайку чашечку».

Таким-то образом Мавра Ивановна проводила день, если какая-нибудь старушка Гавриловна не навещала ее или если Саломея Петровна не присылала за ней. Иногда только она вяжет наобум чулок, да и задумается... да уж не об себе, а об Саломее Петровне, или Катерине Петровне, или об матушке их, или об Гавриловне: как это ей бог послал купить три кочня капусты на грошик?... и об других добрых знакомых; о добрых умерших она не задумывается: они в царстве небесном, – жалеть об них нечего. О худых людях она и вспоминать боится, чтоб не помянуть недобрым словом.

Сто рублей она аккуратно распределяла на год. Нанимает у Гавриловны уголок за двадцать рублей; шесть рублей заплатит за фунтик чайку, да купит фунтика три в полгода сахарку; а ежедневных расходов у нее нет. Вовремя запасет она грибков рублика на три, капустки кислой, да крупки рубликов на пять. Два фунта говядины достает ей на все скоромные дни недели, а полфунта снеточков – на постные; полтора фунта хлеба на три дня. Таким образом у нее остается еще около двадцати пяти рублей; из них десять рублей на гове-

нье, на свечи, на просвиры, на панихиды; а пятнадцать – на всякий случай, на приправу, на маслице да на пирог в праздник.

Одежда на ней уж не носится, не трется и не стареет.

Мы уже сказали, что у одного папеньки и у одной маменьки были две дочки: эти дочки назывались Саломеей Петровной и Катериной Петровной. Их папенька и маменька ничем не отличались от тех, которые не знают, что такое значит: папенька и маменька.

Катенька, меньшая дочка, была больше ничего, как миленькая девушка, которую очень приятно любить и которую все любили так, как будто бы ни зашто, ни прошто; старшая же сестрица ее была – Саломея Петровна – не иначе. Красавица в форме, с сознанием собственного достоинства; истинный доблестный муж в полдюжине юбок; настоящий юный чиновник министерства, приехавший из европейской столицы в азиатскую, со всем запасом важности, горделивости в походке, в посадке, в приемах, в движениях, в речах, во взгляде, в чувствах и даже помышлениях. Словом, это было существо великодушное, презирающее всех малодушных, слабодушных, тщедушных и радушных. В дополнение ко всем этим достоинствам она пела. Так как голос есть выражение души, а душа Саломеи была мужественна, то голос ее был яко глас трубный, не семейный, а, соответственно современному требованию, публичный. Она пела

con fuoco<sup>10</sup>, как поет на сцене какой-нибудь Mahometo<sup>11</sup>, с выражением в лице игры страстей, со всеми уклонениями, возвышениями, понижениями, потрясением головы, то с наморщенным челом, то с закатившимся, умирающим взором и с сладчайшей конфетной улыбкой. Все люди века, вздутые, пузырьные и бурчащие как пена, словом, дрожи, поднявшиеся наверх, кричали рассеянно: браво, браво, удивительно!.. Похвала имеет цену не на устах, а в ушах! Это знают люди века. Папенька Саломеи был статский советник; маменька, разумеется, также статская советница, – больше об них нельзя ничего сказать. Они были очень обыкновенные супруги. Имущества у них было не через край. Для двух дочерей следовало бы по крайней мере скопить приданое; но оно не скоплялось; а между тем старшая уже гадала о том великом муже, который будет ее собственным мужем. Он воображался ей чем-то вроде Телемака<sup>12</sup>, и потому все имеющие честь называться молодыми людьми, мужчинами, и в мундирах и во фраках, и вообще в одежде с куцым и длинным хвостом, казались ей сволочью, не стоящею внимания. Как ни покушались некоторые из них составить с ней свое счастье, но она была неприступна, как Телемахиды<sup>13</sup>. На Катень-

---

<sup>10</sup> С огнём (*итал.*).

<sup>11</sup> «Mahometo» («Магомем») – малоизвестная опера итальянского композитора Россини Жоакомо-Антони (1792–1868).

<sup>12</sup> Телемак – сын Одиссея, героя одноименной древнегреческой поэмы.

<sup>13</sup> «Телемахиды» – стихотворный перевод романа «Les aventures de Télémaque» («Приключения Телемака») французского писателя Фенелона

ку никто не обращал внимания, потому ли, что она еще была молода, или потому, что перед Саломеей Петровной Катенька была просто – ничто. «Катенька! подай мне скамейку под ноги!» Катенька и подаст. После этого как же можно было какому-нибудь кавалеру предложить руку и сердце такому послушному ребенку? Но вдруг отыскался некто Федор Петрович Яликов... Об нем однако же после.

Саломея Петровна ездила с маменькой к обедне, не иначе как в *шереметевскую*<sup>14</sup>. Но однажды, против обыкновения, отправилась в приходскую церковь, к празднику, потому что служба была архиерейская.

Церковь была против самого дома; но пешком было неприлично идти; в четвероместной карете переехали они через улицу.

Человек в ливрее протолкал народ до мест, обитых сукном. Саломея Петровна нашла себе место, двинувшись на возвышение со взглядом, который говорил: «Прочь!» Она принудила отодвинуться от себя нескольких купчишек; но маменька принуждена была остаться у подножия своей дщери, не видеть ничего за толпою и изъяслять свою досаду жалобой на эту ужасную толпу.

– Не угодно ли вам, сударыня, встать на мое место? – сказала ей одна древняя старушка, занимавшая место на возвы-

---

(1651–1715), сделанный Тредья-ковским В. К. (1703–1769). Перевод выполнен так косноязычно, что был малодоступен для понимания; при дворе Екатерины II его заставляли читать в качестве наказания.

<sup>14</sup> Имеется в виду домовая церковь графа Шереметева.



шении подле стенки.

– Ах, милая, как ты меня одолжила!

Старушка уступила свое место и стала подле, у подножия.

Софья Васильевна осмотрела ее с ног до головы – старушка как старушка: белый как снег коленкоровый чепчик, с накрахмаленной складкой, тафтяный салопец с коротеньким воротником, самой древнейшей формы, наживной горбик, лицо также очень давнее, но предоброе; словом – почтенная старушка.

Когда обедня кончилась, Софья Васильевна подошла к старушке поблагодарить ее.

– Чем могу служить вам с своей стороны, моя милая? – спросила она ее.

– Благодарю, матушка, что бог послал, тем довольна, ничего не нужно мне.

– У вас есть семья?

– Э, нет! живу одна-одинехонька, пенсией после мужа.

– А ваш муж где служил?

– В военной службе, сударыня; капитаном вышел в отставку; государь пожаловал ему пенсию, двести рублей в год.

– А теперь чем же вы живете?

– Пенсией же; сто рублей в год получаю; с меня довольно и предовольно.

– Что ж это мы стоим? Все вышли из церкви, – сказала с нетерпением Саломея Петровна.

– Как вас зовут, моя милая?

– Мавра Ивановна.

– Прошу навестить меня, Мавра Ивановна, мне очень приятно было бы чем-нибудь и вам угодить. Ведь вы, я думаю, здешнего прихода?

– Как же, матушка, здешнего.

– Так вы, я думаю, знаете дом статской советницы Брониной?

– Софьи Васильевны? как же, сударыня, как не знать: слухом земля полнится; а это не дочка ли ваша, Катерина Петровна?

– Нет, не Катерина, моя милая, ошиблась! – отвечала Саломея Петровна, вся вспыхнув. – Нас ждет карета! – прибавила она и пошла вон из церкви.

– Так прошу, Мавра Ивановна.

– Непремину, матушка.

– Лучше всего, завтра поутру я пришлю экипаж за вами.

– И... к чему, к чему! у меня, слава богу, ноги еще служат. Софья Васильевна сначала думала только обласкать Мавру Ивановну своим приглашением; но когда Мавра Ивановна проговорила, что в числе слухов, которыми полнится земля, не забыто и имя статской советницы Софьи Васильевны Брониной, – о, тогда Мавра Ивановна превратилась в листок газеты, в котором кое-что напечатано и *об нас*.

– Для чего это вы, маменька, всякую дрянь зовете к себе? – сказала Саломея Петровна матери, когда она села в карету.

– Прошу меня не учить, сударыня: молода еще делать матери замечания и наставления!

– Конечно дрянь, нищая, точно такая же, как Василиса Савишна.

– Молчи!

– Я с вами и без приказаний, кажется, всегда молчу, – произнесла Саломея, *фырка*я, как говорится по-русски.

Софья Васильевна непременно сказала бы на это еще кое-что; но карета остановилась уже у подъезда, дверцы отворились, и Саломея Петровна, не ожидая ответа, выскочила и ушла в свою комнату. Никогда еще самолюбие ее не было так раздражено, как теперь: об ее дрянной сестренке говорят, а об ней ни слова... Каков свет! каковы люди! Из двух сестер, различных между собою как две крайности, не умели выбрать лучшей по красоте, по душе, по образованию, короче сказать, по всему, не умели отличить дня от ночи!.. О, да это ночные птицы; для них там и свет, где тьма!.. Катю называют Катериной Петровной, обратили внимание на мякушку, на беленькую, смирененькую овечку, и тут же, подле, не заметили существа высокопарного, высокомерного, словом, исполненного всеми высокими достоинствами!

Нашей старушке Мавре Ивановне совсем не хотелось забираться в высокие хоромы, да нельзя: зовут, просят, как можно отказаться? Ведь это неучтиво: люди делают честь, не следует отказываться.

«Так и быть, пойду в воскресенье», – думает Мавра Ива-

новна, пересматривая свой белый коленкорový капотец, который надевается только к причастью, в светло-христово воскресенье да в именины. Но Софья Васильевна сдержала слово: на другой же день прислала за ней дрожки. Нечего делать, пришлось в будни надеть праздничный чепчик и капот.

Мавра Ивановна сроду не знала такого почету себе. Софья Васильевна ласкова, а Саломея Петровна просто очаровывает ее своим вниманием и предупредительностью, усаживает ее помягче, спрашивает: сладок ли кофе, не прибавить ли сливок; ахает, слушая ее рассказы о походах с мужем; только что не плачет, слушая рассказ, как она похоронила его без копеечки.

Старушка вне себя, готова схватить руку Саломеи Петровны и расцеловать.

«О, я дам тебе понятие, моя милая, об истинной доброте и великодушии, – думает Саломея Петровна, видя, что Мавра Ивановна совершенно уже в восторге от нее, – ты узнаешь разницу между мною и сестрой, которую так тебе расхвалили!»

Есть какое-то особенное удовольствие в семейном женском быту иметь подчас подле себя собеседницу старушку говорунью. Это – живая книга былых повестей и рассказов. Софья Васильевна особенно полюбила с некоторого времени подобного рода старушек. Вскоре появилась в доме ее некая Василиса Савишна. Василиса Савишна жила также одна на квартире; пенсии не получала после мужа, но также

имела старую служанку, которую она звала девкой и которая не смела иначе называть ее как барыней. Когда Василиса Савишна кричала: «Девка!» – то девка обязана была тотчас же откликнуться: «Что прикажете, сударыня?» – и немедленно предстать пред ней, а иначе: со двора долой! без всяких оправданий. Что было делать старой девке, которую, по душе, не принимали на казенные хлебы, а по наружности в порядочный дом. Она же привыкла с малолетства и к лохмотьям, и к грязи, и к черному куску хлеба с колодезной водой, и к послушанию, и к побоям ни за что, ни про что, и утвердилась уже в мнении, что, верно, иначе и быть не может.

Не получая после мужа пенсии, надо же было чем-нибудь жить Василисе Савишне. Чем она жила? трудно и решить, тем более, что Василиса Савишна была не из того роду старушек, которые промышляют жалобами и слезами на судьбу и людей и для которых благодетельные барыни не щадят ни старой подкладки, ни обрезков от домашнего шитья, ни изношенных башмаков, которые прослужили года два туфлями, ни протертых чулков, которых нельзя уже надвязывать, ни запасцу прогорклого маслица, ни промозглых огурчиков, ни протухшей дичинки, ветчины и тому подобного. Василиса Савишна не побиралась таким образом; она искала по городу не богомольных, жалостливых и благодетельных старушек, которые любят слушать патетические рассказы о грехах человеческих, – она искала по Замоскворечью, во-первых, товару, который продается с руками и с нотами; а во-вторых,

купцов на этот товар. Таким образом она жила, сочетавая судьбу двух существ. Чуть где явится судьба, готовая к сочетанию с другой, Василиса Савишна тут как тут. Таким ли образом или каким-нибудь другим образом она явилась в доме Софьи Васильевны, это неизвестно. Саломее Петровне был уже (между нами сказать) двадцать восьмой годок; Катеньке пятнадцатый, и, следовательно, об ней ни слова. Кажется, мы уже говорили, что Саломея Петровна, мечтая всегда о великом муже, никак не могла представить его себе обыкновенным человеком, за которого может выйти замуж и каждая обыкновенная девушка. Покуда цветуща была молодость Саломеи Петровны, наворачивались искатели цветущей молодости; покуда цветуще было благосостояние Петра Григорьевича, наворачивались искатели цветущего благосостояния, но когда молодость испарилась до капли, как розовое масло, а благосостояние ушло на светские приличия, тогда искатели, как ветры, подули в другую сторону.

Беды начались для Саломеи Петровны совершенно неожиданно. Она являлась в свет невестой миллионщицей, и вдруг, в один пасмурный день, когда должно было отдавать шить новое платье к великолепному балу, маменька говорит ей плачевно: «Друг мой, надо обойтись без золотых кружев». — «Как! без модных золотых кружев? У папеньки не достало денег для дочери на какие-нибудь двенадцать аршин кружев по пятидесяти или много по семидесяти пяти рублей аршин! Да это просто варварство!» В самом деле варварство:

не простыми же нитяными кружевами рублей в двенадцать аршин обшивать платье, когда на всех порядочных воротах и подолах должно быть непременно чистое золото.

Ехать на бал нельзя, не можно, невозможно; и это был первый *невыезд* на бал.

Вслед за этим настал день рождения Саломеи Петровны. По обычаю, этот день, ознаменованный появлением на свет первого залога любви Петра Григорьевича и Софьи Васильевны, праздновался на весь мир родства и знакомства, год от году пышнее и торжественнее. Двадцать восемь раз уже Саломея Петровна совершила путь вокруг солнца. Всякий раз в первый день своего нового года она осыпалась подарками и желаниями; украшала собой великолепный обед, была царицей этикетного бала, с присутствием полиции для порядка приезда и разъезда. И вдруг папенька объявляет маменьке, что бала никак нельзя дать, потому что денег нет.

– Помилуй, что ты это! ты погубишь дочь! – вскричала маменька, – это страм для нас! За нее никто не посватается! Нам нельзя переменить образа жизни, покуда Саломея не выйдет замуж!

– Помилуй, матушка, да я десять лет тяну канитель в этом ожидании! Имение заложено, перезаложено; долгов тьма, платить нечем, все прожито на пиры да на балы! Кончено!

Сначала Софья Васильевна всплила.

– Позвольте узнать, на какие балы? – вскричала она. – На пиры, может быть; это дело другое: у вас шампанское лилось

рекой!.. Обед стоит пятьдесят рублей, а вин вы выпьете на пятьсот. Каждую неделю обед, пятьдесят обедов в год – вот вам и двадцать пять тысяч... А в карты вы сколько проиграли? Ежедневно проигрыш – положите хоть по двадцати пяти рублей – вот вам и десять тысяч в год, вот вам и ежегодный наш доход! Балы! каких-нибудь две, три тысячи на гардероб мне и дочери, вот вам и весь бальный расход!

– Ты хочешь, душа моя, доказать, что прожил все я? Положим, что и так; я, следовательно, все пропил и проиграл; ну, пропил так пропил, проиграл так проиграл; а все-таки наше имение продадут с публичного торгу: дом в залоге, денег нет, а занять не у кого.

– Вот до чего вы довели меня! – вскричала Софья Васильевна. – Боже мой, какой стыд! Бедная Саломея! что с ней будет! на ней никто не женится!

– Да, я надеялся на ее замужество, да где! разборчивая невеста! тот не по нас, другой не по нас! один не суженый, другой не ряженный! Позвольте спросить, сколько их проехало мимо?

– Кто это, кто, сударь? откуда? какие женихи? Этот гриб, что ли?

– Какой гриб? Платон Васильевич? Хоть он стар, но не худо бы, если б за него вышла Саломея: пять тысяч душ! Она бы просто царствовала.

– Во-первых, он еще не сватался, а во-вторых – это смешно и говорить. Еще какие же женихи: этот твой любезный



человек, петух, генерал, или эта простокваша?

– Какая простокваша?

– Также твой любезный человек, Горлицын, или...

– Довольно и одного из этих двух; именно прекрасные люди: у одного восемьсот душ, другой наследник тысячи.

– Прекрасно! вы влюбитесь в какого-нибудь любезного человека, который необходим для вашего виста; а дочь выходи за него замуж!

– А Стрешников? играл в карты?

– Этого я уж и не знаю, почему вы называете любезным человеком.

– А потому, что за него вышла замуж Верочка Кубинская, которая получше, и поумнее, и побогаче Саломеи.

– Для тебя свое детище, я вижу, хуже последней девчонки! Нет, я не так думаю! Для меня дочь дороже, ближе всех! Для счастья дочери я готова пожертвовать жизнью!.. а для тебя все равно, существует она на свете или нет; счастлива или изнывает в своей каморке, как в тюрьме!.. Она же виновата, что родилась на свет с чувствующей душой, с сознанием своего достоинства и не в состоянии пожертвовать собою против сердца, отдать руку без разбора первому, кто бы вздумал ангажировать ее на супружество. Это не кадрили-с!

– А вот потому-то, что не кадрили, я и думал, что не на балах надо искать пары.

– А позвольте узнать, где же? Где девушка может показать себя?

– Помнится, что ты показалась мне у себя дома.

Этот супружеский комплимент смутил несколько Софью Васильевну; она припомнила, как ее суженый прошел мимо окна, взглянул и – дело кончено.

– Теперь уже не те времена, – сказала она вздохнув, – суженых не высидишь и не заманишь через окно.

– Да, именно теперь и именно Саломее уж не только высидеть, да и не выездить на паркет в галоп человека по сердцу, – сказал Петр Григорьевич вздохнув. – Вот уж десять лет как она высматривает не в окно, а в лорнет, да никого не видит. Вот уж года с два как понадобилась приправа к девичьей красоте.

– Как тебе не стыдно!.. Лучше бы ты думал, как поправить наши дела. Как хочешь, а в именины Саломеи надо дать бал... некоторые почти уж званы... об нем уж говорят...

– Пусть говорят.

– Помилуй! я знаю, что почти все мои знакомые готовят уже наряды.

– Пусть готовят.

– Это страм! У Саломеи есть надежды на князя...

– Не договаривай! пустяки!

– Отчего пустяки?

– Ну, что говорить, когда ты сама это знаешь.

– Боже мой! что ж мы будем делать!

– Ничего; не дадим бала, и кончено.

– Как это можно!

– Не звать – и кончено!

– Как это можно! Многие приедут и незванные.

– Запереть ворота!

– Помилуй! тебе кажется все это забава.

– Нисколько. Кто приедет – отказать.

– Без причины!

– Сказать, что кто-нибудь болен.

– Я этого на себя не возьму, ни на себя, ни на Саломею!

Я не хочу накликать болезни.

– Сказать, что я болен; я, пожалуй, лягу в постель и пошлю за доктором.

– Нет! я не в силах этого перенести! я продам все свои брильянты и жемчуга и непременно дам бал.

– Неси последнее со двора! – вскричал Петр Григорьевич с досадой, – и пойдем по миру!.. Говорю тебе коротко и ясно, что если я не употреблю всех последних средств на уплату долга в Опекунский совет<sup>15</sup>, то – мы нищие! Три года неурожай, вместо тридцати тысяч дохода именье съело меня, а все-таки одна на него надежда поправить свои обстоятельства. Теперь рассуждай как хочешь, что лучше: сберечь ли имение, или докапать его.

– Но неужели нет никаких средств на эту зиму? Я тебе

---

<sup>15</sup> Опекунский совет – учреждение по охране правовых и имущественных интересов лиц, не способных самостоятельно действовать по малолетству или психической неполноценности. С 1838 года функции Опекунского совета были расширены образованием при нем вдовьей и ссудной кассы, что превратило его в ссудно-сберегательное, выполняющее кредитные операции учреждение.

ручаюсь, у Саломеи непременно будет жених, прекрасный человек, с состоянием...

– Я тебе говорю, выбирай: прожить последние средства и долететь на крыльях до нищеты или сложить крылья и сидеть у моря да ждать погоды.

– Я тебе говорю, что Саломея будет замужем, – сказала решительно Софья Васильевна, – по крайней мере я буду знать, что она пристроена.

– Хм! а если так не случится, тогда что будет? У нас не одна Саломея; надо подумать и об Катеньке. Для одной всё, а для другой ничего?

– Катеньке? ах, более мой, да я ей найду тотчас жениха, – сказала Софья Васильевна, обрадовавшись этой мысли. – За ней дело не станет. Разумеется, такой партии она не может сделать, как Саломея; но лишь бы человек с состоянием, который мог бы и нас поддержать.

– О-хо-хо! на Катю у меня больше надежды; но все-таки званого бала у нас не будет.

– Ну, хорошо, я сделаю маленький вечер.

Петр Григорьевич согласился. Но когда Софья Васильевна объявила Саломее, что в ее именины будет *маленький вечер*, а не *grand bal par*?<sup>16</sup>...

– Ah! comme c'est mesquin!<sup>17</sup> Какое мещанство! – вскричала она.

---

<sup>16</sup> Большой парадный бал (*франц.*).

<sup>17</sup> Ах, как это жалко (*франц.*).

– C'est pour varier, ma ch<sup>re</sup><sup>18</sup>, для разнообразия; ведь это тот же бал, по без особенных требований.

– Покорно вас благодарю! лучше не нужно ничего.

– Но, милая моя, мы не можем давать теперь балов, наши обстоятельства в самом худом положении. Мы прожили последнее в надежде, что ты выйдешь замуж за человека с состоянием, и это поддержит нас.

– В первый раз слышу это, – сказала Саломея с пренебрежением, – жаль, что давно не сказали об этом и не приискали мне жениха, необходимого для вас... во мне достало бы столько великодушия, чтоб пожертвовать собою для благосостояния родителей.

– Но что ж делать, милая?

– Что вам угодно, то и делайте!.. на первый раз хоть маленький вечер!

Софья Васильевна как-то не умела оскорбляться дерзкими словами Саломеи; в отношении ее она была *детская раба*; неудовольствия свои на Саломею она вымешала на Катеньке. Боясь не угодить возлюбленной дочери, Софья Васильевна облекла маленький вечер в надлежащую помпу. Все пошло по-прежнему; но она стала заботиться о судьбе Катеньки, избрала для этого старый, верный обычай.

В это-то время и явилась в доме Василиса Савишна, *очень милая и добрая женщина*, как выражалась Софья Васильевна в ответ на вопросы Саломеи, откуда она выписала такую

---

<sup>18</sup> Это для разнообразия, милая (*франц.*).

пошлую дуру и что за знакомство с чиновницами-потаскушками. Вскоре вслед за Василисой Савишной явился в дом Федор Петрович Яликов, о котором и будем мы иметь честь вслед за сим держать речь.

### III

Федор Петрович Яликов имел бедного, но, как говорится, благородного родителя, потому что Петр Федорович, производя на свет сына, был уже коллежским регистратором<sup>19</sup> и служил в одном из судилищ С... губернии. Лишившись первой жены, он женился вторично на каком-то случае, по которому сынишке Феденька был записан в корпус, а сам он получил место исправника где-то в другой губернии и забыл в служебных и семейных заботах не только свою родную губернию, но и родного сына. Как попугай, сперва прислушался он к словам жены, а потом и сам начал говорить: «бог с ним, пусть его учится», а через несколько лет, — «теперь он, чай, уже на службе; бог с ним, пусть его служит, пробивает себе дорогу, как отец! Вот, дело другое — дочь!»

Между тем как почтенный родитель, не любивший бесполезной переписки с сыном, оперялся насчет ближнего и дальнего, Феденька, одаренный от природы тупыми понятиями, никак не мог изострить их науками. Несмотря на это,

---

<sup>19</sup> то есть имел низший гражданский чин.

за прилежание и благонравие выпущен был в офицеры в пехотный полк и долгое время служил с рвением и усердием; сроду не отличался, но зато также сроду ничего не пил, сроду карт в руки не брал, сроду не гуливал и в этом случае часто ставился в пример другим. Несмотря на то, что Яликов был примером *готовности, неуклончивости* и *ни малейших отговорок*, товарищи любили его за готовность идти без малейших отговорок вместо каждого в караул. Полк, в котором Федор Петрович проходил чины прапорщика, подпоручика, поручика и, наконец, штабс-капитана, во все время его службы стоял то на границе, по пикетам, то близ границы, по деревням. Только и свету было для него, что бал подле жидовской корчмы. Когда, несмотря на постоянные занятия по службе, поспело сердце Федора Петровича для любви, ничто так не услаждало его, как пляска очаровательных русначек с льняными волосами, с курносенькими носами, ножки в чоботах. Одна так приглянулась ему, что он решился сказать ей:

– А що, Донечко, любишь ты меня?

– А що, паночко, жинысь на мни, так и буду любить, – отвечала она.

Федор Петрович и задумался. И чего доброго, быть бы *веселью*, да судьба готовила великого мужа для великой жены.

Был же анекдот, что один *любезный друг* одного *добротного приятеля*, которого он приучил не отказывать ему на «нет ли, брат, у тебя чего-нибудь серебра или какой-нибудь мел-

кой бумажки?» – узнав, что его доброму приятелю выходит огромное неожиданное наследство:

«А что, любезный друг, – сказал он ему, – если б ты получил огромное наследство, тысяч двести или триста, поделился бы ты со мной?»

– Двести тысяч! можно поделиться.

– Честное слово?

– Хоть два.

– Добрый человек! Вот как: я получу наследство – с тобой пополам; ты получишь – со мной пополам; руку!

– Это что называется: что есть – то вместе, чего нет – пополам.

– Чем черт не шутит: давай руку! будет или не будет, а все-таки две надежды лучше, чем одна.

Сегодня сделано условие, а завтра добрый приятель получает известие о наследстве, и от мысли, что ни с того ни с сего, а надо делиться с любезным другом, встали у него волосы дыбом.

Сам полковой адъютант прискакал к Яликову с известием, что ему вышло огромное наследство.

– Любезный друг, – сказал он ему, входя в хату, – во-первых, здорово, а во-вторых, убирайся в отставку!

– Что такое, Василий Петрович? – спросил Яликов, побледнев.

– Больше ничего, как пиши прошение в отставку по семейным обстоятельствам.



– Что ж такое я сделал, Василий Петрович? – проговорил с ужасом Яликов.

– Что сделал? Каков гусь: как будто не знает!

– Ей-богу, ничего не знаю... Я... право, ничего!

– Говори, говори! ничего! полковнику и всему штабу известно; а он ничего не знает!

– Господи! что такое я сделал? – проговорил Яликов сквозь слезы, – я поеду к полковнику... Скажите, Василий Петрович, что такое?

Я говорю, что подавай в отставку; тут другого ничего не может быть.

– Это какая-нибудь клевета! Я ни в чем ни душой, ни телом не виноват, вот вам Христос!

– Как клевета? позвольте вас спросить: это вы мне говорите, что клевета?

– Нет, Василий Петрович, я сказал так, не касаясь вас; а потому, что кто-нибудь, может быть, несправедливый какой-нибудь донос сделал на меня...

– Донос? Нет-с, формальное отношение, за номером.

– Это просто несчастье... Да от кого же отношение?

– Из суда.

– Я, Василий Петрович, никакого преступления не сделал, Бог свидетель!

– Нет-с, там сказано именно: Федор, Петров сын, Яликов.

– А черт знает, верно, какой-нибудь другой есть Федор, Петров сын, Яликов.

– А как вашего отца зовут?

– Зовут? Петром, – отвечал Яликов боязливо.

– Ну-с! надо знать имя и отчество.

– Отчество?... да я родителя своего с малолетства и в глаза не видал.

– Так вы, стало быть, отрекаетесь от своего отца? Очень хорошо, так я так полковнику и донесу.

– Извольте донести, что я никаких сношений с ним не имел и не знаю, где он обретається; а потому по его делам суду не причастен.

– Непричастны?

– Непричастен.

– Очень хорошо-с; а знаете ли вы, что он умер?

– Умер?

– А! что, побледнел!

– Никак нет-с; что ж, не я в этом виноват...

– Точно не виноват?

– Ей-ей!

– Ну, а он оставил духовную, которая представлена в суд; так теперь извольте с ней разделяться!

– Да за что ж я буду разделяться, Василий Петрович? Если б я был прикосновенен к какому-нибудь делу...

– Да по духовной он вас сделал прикосновенным.

– Ей-богу, грех батюшке за то, что он делает сына своего несчастным!

Федор Петрович такую сделал горестную мину, что пол-

ковой адъютант не в состоянии уже был удержаться от хохоту.

– Смейтесь, Василий Петрович; если бы вам случилось так... посмотрел бы я!

– Нет, брат, со мной этого не случится!

– Бог знает!

– Мой отец умер и ничего мне не оставил.

– Счастье ваше!

– Сделай одолжение, возьми это счастье в карман, а мне уступи несчастье, которое навязывает тебе на шею отец. Хочешь?

– Говорить-то легко!

– Клянусь, давай только доверенность, что предоставляешь мне получить по духовной все наследство и распоряжаться им как угодно.

– Какое же наследство, Василий Петрович?

– Какое бы ни было; не твое дело; ты оставайся служить, а я выхожу в отставку.

– Так батюшка наследство мне оставил?

– Это уж не твое дело, ты служи себе, а я поеду.

– Как можно, Василий Петрович; батюшка оставил мне наследство, а вы поедете.

– А не сам ли ты отрекся от отца?

– Как можно отречься от отца; я говорил только, что не причастен ни к какому делу.

– Ну да, да; а дело-то и состояло в наследии.

– Нет, от наследия я не отрекался.

– Э, брат! губа-то у тебя не дура! А знаешь ты пословицу, что такому сыну, как ты, не в помощь богатство.

– Уж очень в помощь: не все же так жить... Я намерен жениться!

– Женись, да женись на какой-нибудь дуре.

– Это для чего?

– А для того, чтоб дети были умны.

– Это почему?

– Ты учился математике?

– Учился.

– Ну, так должен знать, что и минус на минус дает плюс.

– Не понимаю; математика давно уж из головы вышла.

Яликов разгулялся.

– Эй, Курдюков! – крикнул он.

– Чяво изволите? – спросил вошедший денщик.

– Вели-ка, тово... – сказал Яликов, ходя по комнате и потирая руки.

– Чяво?

– Вели-ка, тово... – повторил он.

– Чяво, – повторил денщик.

– Ну, как оно?... тово...

Денщик стоял в ожидании решения, чего потребует его благородие.

– Барин твой с ума сошел, – сказал полковой адъютант, – покуда придет в себя, дай мне чаю.

– Да! чаю! – сказал Яликов.

– Насилу надумался!

Яликов был вне себя. В первый раз воображение его вырвалось из-под спуда привычных служебных понятий и начало строить ему мир вне службы; но так как матерьялов для этой постройки в голове Федора Петровича было очень недостаточно, то на первый случай матерьялы были заняты из сказочного мира. Федору Петровичу мерещилось, что он ведет Доню в свои волшебные палаты.

– А, Доня, каково?

И Доня дивится, говорит: «Ой, то квартирочка! який на пане червонный жупан!»

– Що, Доню, хочешь грошей? хочешь медвины? хочешь музыку слухать!.. Гей! – вскричал Яликов во все горло.

– Что ты кричишь во все горло? – прерывал мечты его полковой адъютант; а денщик вбегал и спрашивал: «Чяво прикажете?»

– Вели-ко... тово, – говорил Яликов, очнувшись от бреда.

– Чяво? – повторял денщик.

– Чяво! вылей ему ведро на голову! Ну, брат, ты спятил, Яликов.

– Да я все думаю, Василий Петрович, каким образом подавать в отставку? Я никогда не подавал, не знаю, как это делается.

– Верхового коня подаришь? так я тебя выпровожу, сперва и отпуск на двадцать восемь дней с отсрочкой, а потом в

отставку.

– Подарю, ей-богу подарю!

– Ну, ладно.

Полковой адъютант устроил все как следует, и чрез несколько дней Федор Петрович Яликов отправился в путь.

Сам бы он не умел принять и наследства; но нашлись добрые люди, которые ему помогли в этом. За исключением разных расходов, Федору Петровичу очистилось более двухсот тысяч наличных да именияще душ в триста. Деньги лежали и Опекунском совете; и вот он отправляется благополучно в Москву.

Въезжая в Москву, Федор Петрович невольно смутился; что-то страшно стало; ему казалось, что он приехал в какой-то иноземный город, в тридесятое царство; а денщик его, Иван, дивясь на огромные дома, поминутно вскрикивал:

– Э! Федор Петрович, извольте-ко посмотреть, какие казармы! Э! еще больше! Э! коляска-то, словно полковничья!..

Ил роду-то, народу-то! А что, брат почтарь, ярмонка, что ли, тесь? а? Эвона! наш брат, солдатик!.. А что, брат служивый, здесь полковая квартира, что ль?

– А где ж барин остановится-то? – спросил ямщик Ивана.

– Разумеется, на постоялом дворе; где ж барину останавливаться-то, как не на постоялом дворе.

– Вестимо, у нас славный постоялый двор.

Прокатив через всю Москву, ямщик и привез Федора Пет-

ровича на постоянный двор, на другом краю Москвы.

Федор Петрович молчал от недоумения, куда он заехал; а Иван дивился вслух:

– Вот уж штаб-квартира, так штаб-квартира! Ехали, ехали! Да скажи ж, брат, кто ж это живет в больших казармах-то! Неужто все штабные?

– В казармах полковые живут.

– А вот в той, что со столбами-то? Да, да, и позабыл: ведь ты уж говорил, что там конская скачка, манеж то есть. Э! Федор Петрович, смотрите-ко, кони завезли на крышу зарядный ящик! Постой, постой! Федор Петрович, смотрите-ко!

– Да это киатер, то не настоящие лошади, – сказал извозчик.

– Да что ж это правит-то не солдатик, а трубочист? К чему ж это туда завезли? а?

– А кто ж их знает? чай вывеска, дескать: здесь на конях скачку производят.

– Вот что!

На постоялом дворе Федора Петровича угостили по-русски, чем бог послал: сперва чайком с московскими калачами, а потом предложили поужинать щец да жареной говядинки. Это все еще было нам с руки и привычно; но наутро предстояло Федору Петровичу отправиться в Опекунский совет отыскать там рекомендованного ему чиновника и при помощи его получить по билету часть денег.

Федор Петрович был вне себя, собираясь в этот поход.

– Да не прикажете ли, сударь, извозчика, – спросил хозяин, – пешком до города далеко; дрожки или коляску? у нас здесь славные извозчики.

Сначала Федор Петрович испугался было предложения коляски: ему и на дрожках еще не случалось ездить; а в коляске ездит только полковой командир; но потом одумался: эка беда, мы и сами в коляске поедem!

– Коляску!

– Как же, сударь, прикажете мне сзади ехать? – спросил Иван.

– Конечно уж; кто ж в коляске без человека ездит.

Вот и поехали. Денщик не привык на запятках стоять, ведь это не во фронте: обеими руками он вцепился в задок коляски и налег на него боком. Ему хотелось подивиться вслух на все необычайные встречи; но он боялся разинуть рот, чтоб не слететь. Только раз не вытерпел, толкнул Федора Петровича сзади, вытянулся, чтоб сказать ему на ухо: «Генерал, сударь, какой-то едет!..» да чуть было не ввалился в коляску. Федор Петрович был объят каким-то страхом. Ему казалось, что все и него смотрят и кто-нибудь встретится да крикнет: «А! Это вы, сударь! я вам дам разъезжать в колясках!»

Подъехав к Опекунскому совету, Федор Петрович с тайным трепетом в душе вышел из коляски. Войдя в залу, прежде всей толпы народу он увидел генеральские эполеты, вздрогнул и остановился у входа. Он не пришел в себя до тех



пор, откуда не выбыли из толпы страшные чины и не остались только ходячие и сидячие фраки, кафтаны, бороды, сапожники и иное бабье.

– Вам что угодно? – спросил его один чиновник.

– Петра Кузьмича, – отвечал Федор Петрович, – письмо к нему-с.

– Пожалуйте сюда.

Петр Кузьмич явился, прочел письмо, очень обрадовался, что может служить Федору Петровичу, взял от него билет, и чрез несколько минут Федор Петрович, в поте лица, трясущимися руками считал огромную сумму денег.

– Да уж я верю-с! – повторял он, останавливаясь считать. – Нет-с, лучше сосчитайте, чтоб не было недоразумений.

– Точно так-с, – сказал, наконец, Федор Петрович и набил деньгами все карманы.

Петр Кузьмич был добрый человек и угодливый; узнав, что Федор Петрович первый раз в Москве и совершенно не имеет знакомых, просил его к себе.

– Вы долго намерены здесь пробыть?

– Право, не знаю; надо подождать отставки; а потом поеду и деревню.

– Вам надо непременно познакомиться с Москвой, – сказал Петр Кузьмич и вследствие этого вызвался быть руководителем его.

Прежде всего повез он Федора Петровича позавтракать в московский трактир, угостил шампанским; но Федор Петро-

вич не позволил ему расплачиваться. «Нет уж, позвольте! — сказал он, — не приходится так», и, вытащив из кармана пучок бумажек, отделил одну и бросил на стол. Потом Петр Кузьмич повез его к себе на чай, познакомил с женой и дочерью и, узнав, что московский гость остановился на постоялом дворе, с ужасом вскричал: «Как это можно, вас там оберут! Переезжайте в гостиницу, вот рядом со мною, тут прекрасный номер, стол, все удобства. Пошлите своего денщика тотчас же перевезти вещи; а мы между тем сыграем вчетвером по маленькой в вист».

Как сказано, так и сделано. Петр Кузьмич сам сбегал в гостиницу, выбрал номер, послал Ивана за вещами, а Федора Петровича усадил играть по маленькой в вист, о котором он получил в полку некоторое понятие, потому что часто своя братия, за неимением четвертого, сажала его.

Федор Петрович со дня создания своего не вкушал еще такого радушия, каким обаяли его Петр Кузьмич, Аграфена Ивановна и Дашенька.

Петр Кузьмич поминутно повторял: «Будьте с нами, почтеннейший, без церемоний, как свой», а Аграфена Ивановна поминутно повторяла: «Не прикажете ли еще вареньица?», а Дашенька влюбилась в мундир и повторяла, что нет лучше и благороднее армейского мундира. Когда же Федор Петрович при сдаче подавал ей каждую карту в руки, она принимала ее с приличной этой учтивости сладостной ужимкой.

Угостив ужином, Петр Кузьмич сам проводил московского гостя на новоселье.

Федору Петровичу не спалось от приятного чувства, которым он упился.

На другой день Петр Кузьмич явился к нему пожелать доброго утра и напомнить, чтоб он не издерживался на трактирный обед.

– Обедайте у меня; по возвращении от должности я забегу к вам. А если вам скучно покажется, так милости прошу к жене, она дома; будьте с нами без церемоний, как свой.

Федор Петрович поблагодарил; но к Аграфене Ивановне не пошел. Не зная, что делать, он зевал в ожидании обеденного времени.

Вдруг к двери какой-то усач в военном сюртуке, без эпюлет.

– Мое почтение-с, честь имею рекомендоваться: майор Куриков; кажется, не ошибаюсь: Федор Петрович?

– Точно так-с, – сказал Федор Петрович, смутясь, – прошу извинения, что я в халате.

– Ничего-с, – сказал майор, – сделайте одолжение, не беспокойтесь, что за церемонии между военными. Мы с вами свой брат; я потому-то и адресовался.

– Прошу покорно-с, я сейчас...

– Нет, нет, сделайте одолжение, ведь я сам к вам пришел попросту.

– Не прикажете ли трубочку?

– Вот это так; почему же; да впрочем, не закусивши, я как-то не привык; натошак как-то горечь на языке очень чувствительна.

– Да вот сейчас придет денщик.

– Э, к чему большую закуску, рюмку водки да так чего-нибудь... Вы давно, изволите находиться в службе?

– Давно-с, – отвечал Федор Петрович и начал читать наизусть свой послужной список.

– Довольно послужили; по времени вам бы надо быть уж по крайней мере майором. Ей-богу, как приятно, как встретишься с своим братом военным! Я ведь здесь, надо вам сказать, пенсию получаю. На днях получать, а у меня вышли деньги; я и обращаюсь к одному знакомому, к чиновнику, в казенной палате служит: думаю, ведь все-таки человек же и еще с достатком, верно, таких пустяков не откажет: всего-то красненькую... Что ж вы думаете?

С этим словом майор хлопнул рукою по столу.

– Дал или нет?

– Уж конечно-с, как же отказать, – сказал Федор Петрович.

– Нет-с! А вам ведь, чаю, известно, каково честному и благородному человеку слышать отказ в десяти рублях, а? согласитесь сами.

– Да-с, это ужасно.

– Как же не ужасно; я просто плюнул ему в глаза, да и пришел к вам; свой брат, военный, не то что кто-нибудь!..

Мне ведь только на три дня, до получения пенсии.

– С величайшим удовольствием; вот сейчас придет Иван, я пошлю его разменять бумажку.

– Да у вас что?

– Двадцатипятирублевая.

– Пожалуйста, я сам принесу вам сдачи. Помилуйте, платить еще за размен собаке лавочнику! Мне при покупке разменяют. До свидания! Право, такие мерзавцы эти приятели, у меня из головы не выходят!.. Эх, кажется, дожжичек накрапывает; а мой человек черт знает куда со двора ушел и ключ с собой унес... Нет ли у вас какой-нибудь шинели, я только в город съезжу, – сказал майор, увидя в передней шинель. – Вот эту можно взять?

– Сделайте одолжение, – проговорил Федор Петрович, – пот я позову человека.

– Э, не беспокойтесь, я сам.

Майор накинул на плечи шинель, сказал «до свидания!» и исчез.

Не прошло двух минут, вдруг Федор Петрович слышит:

– Пойдем, пойдем! ты не смей говорить, что я украл!.. пойдем!

Дверь отворилась, и самозванца-майора ввели за шиворот двое трактирных прислужников и денщик Иван.

– Федор Петрович! – вскричал он, – ведь вы сами мне дали свою шинель съездить в город... Эти мошенники остановили меня и говорят, что я украл! представьте себе!..

– Я сам дал шинель, – сказал Федор Петрович.

– Что, видите, каналы! Я сейчас яду к квартальному! Как вы смеете обижать честного и благородного человека!

И с этим словом майор рванулся, шинель осталась в руках Ивана и двух прислужников, а он в двери и исчез.

– А! собака, ушел! – сказал один из прислужников. – Ведь это, сударь, мошенник.

– Как ты смеешь называть майора мошенником?

– Майор? знаем мы его! Ходит по домам да просит то на похороны жены, то на родины. Что день, то родит или умрет. Экой майор! Зачем вы шинель ему дали?

– Он у меня выпросил десять рублей взаймы, да красной бумажки не было, так он взялся сам сходить разменять.

– И деньги еще взял? ах он собака! Ну, хорошо, что шинель отстояли, а то бы и ей быть в кабаке.

Вскоре явился Петр Кузьмич и увел Федора Петровича к себе; и на следующий день к себе; а Аграфена Ивановна просит к себе на утренний кофе; после кофе Дашенька просит поддержать моток шерсти; потом помочь перетянуть пальцы. Потом Аграфена Ивановна посадит его с собой играть в пикет. Потом придет из совета Петр Кузьмич: «Не выпить ли перед обедом настоечки, Федор Петрович, а? как вы думаете?» День пройдет, а завтра опять то же, да не то.

Однажды, после обеда, Аграфена Ивановна стала подробно описывать Федору Петровичу счастье семейной жизни и «блаженство обладать благовоспитанной, доброй супругой»;

вдруг откуда ни возьмись влетела в комнату Василиса Савишна.

– Здравствуйте, матушка, Аграфена Ивановна.

– Ах, здравствуйте, Василиса Савишна, – отвечала, несколько смутясь, Аграфена Ивановна.

– А где ж... Дарья Петровна? – спросила Василиса Савишна, всматриваясь зорко в Федора Петровича, – а я ей приятную весточку принесла.

– Пойдем, пойдем, Василиса Савишна, ко мне в комнату. Извините, Федор Петрович.

– Чтой-то, матушка, за офицер?

– Приезжий, из полку; привез письмо Петру Кузьмичу от одного знакомого.

– А, вот что. Ну-с, могу поздравить, дело слажено! Он сказал, что ему Дарья Петровна уж и не знать как по сердцу пришлось и что согласен на полное приданое да три тысячи рублей деньгами; только просит, чтоб серебра прибавили: видите, говорит, у меня случится стол и на двадцать человек, так дюжины ложек мало, не занимать же стать.

– Вот тебе раз! – сказала Аграфена Ивановна, – пустяки! дюжина ложек – уж так водится; и почище его – да больше не дают.

– Что вы это, Аграфена Ивановна, не в первый раз мне свадьбу править; случалось отпускать и пудик серебра, не то что дюжину столовых да полдюжины чайных.

– Ну, может искать невесту богаче!

– Что ж это вы, матушка, Аграфена Ивановна, хулить стали нашего жениха? Не понравилась бы Дарья Петровна, пяти тысяч бы не взял.

– Даша не на придачу идет к тысяче! Не тому, так другому понравится.

– Дай ей бог вашими устами мед пить; да не о том цело: стоит ли того, чтоб из полдюжины ложек разводить дело! Я же от вашего имени просила его сегодня к вам на чашку чаю.

– Не могу принять, нас не будет дома, сегодня мы званы па вечер в гости.

Василиса Савишна посмотрела искоса на Аграфену Ивановну, на лице которой выразалось уже нетерпение скорее выжить от себя сваху.

– Так это что ж такое значит, сударыня?

– Надоело мне, мать моя, торговаться. Да что тут долго говорить: не по нутру мне этот жених.

– Вот как! Нет уж, сударыня, так не водится. Я к вам в свахи не навязывалась! поставила вам жениха не с *вольного места*, не с площади!

– Так и его навязывать нечего!

– На то был сударыня, смотр, – не понравился – и в дом бы не приглашать, не завязывать дела, не ставить бы меня...

– Довольно, довольно!..

– Нет-с, позвольте, я не дура вам досталась скакать всякой день то от вас к нему, то от него к вам да тратиться на извозчика.



– За извозчика мы платили.

– Полтинник-то пожаловали один раз? покорно вас благодарю! а время и слово-то мне дороже ваших денег: я обманщицей прослыть не хочу! Нет, уж так не водится, Аграфена Ивановна.

Василиса Савишна так громко начала причитать, что Аграфена Ивановна, при всей охоте побраниться, не надеясь на стену, которая разделяла ее комнату с гостиной, где Федор Петрович играл в свои козыри с Дашенькой, не решилась на крупный разговор.

– Извини, Василиса Савишна, у нас гость, да и пора мне одеваться; приходи как-нибудь на днях.

– Покорно благодарю! – отвечала злобно Василиса Савишна.

Аграфена Ивановна вышла в гостиную, а Василиса Савишна и девичью, где также имела кой-какие делишки.

На другой день, только что Федор Петрович встал, денщик Иван доложил ему:

– К вам, сударь, пришла какая-то барыня, говорит, что ей дело до вас.

– Какая барыня?

– В чепце.

«Не Аграфена ли Ивановна?» – подумал Федор Петрович, – ах, господи, а я еще не одет! давай одеваться!

Иван бросился за платьем; но дверь уже приотворилась – показался чепец.

– Извините! – вскричал Федор Петрович, выбежав в другую комнату, – я сейчас! покорнейше прошу садиться.

Надев наскоро *все и сверх всего*, Федор Петрович вышел, и ему представилась почтенная Василиса Савишна в чепце и салопе.

– Извините, ваше высокоблагородие, – сказала она, – что я вас потревожила. Вы, я думаю, признали меня?... Вчера у Аграфены Ивановны вы изволили быть, и я приезжала к ней в гости.

– Ах, точно так-с; покорно прошу садиться.

– У меня до вас маленькое дельцо; только уж сделайте одолжение, между нами... Изволите ли видеть: один родственник мой, регистратор в суде, по знакомству видался часто с дочкой Аграфены Ивановны, Дарьей Петровной, и склонил ее на любовь к себе. Вот, как водится, по родственным связям, я взялась посватать, дело пошло на лад; Петр Кузьмич и Аграфена Ивановна с радостью приняли предложение, об Дарье Петровне и говорить нечего – чай вам известно: человек по сердцу, половина венца. Сладили о приданом. Уж, конечно, небольшое, да и родственник-то мой небольшой человек; например, вашему бы высокоблагородию и стыдно было взять за себя какую-нибудь секретарскую дочь в ситцевом платьишке – люди бы стали пальцем указывать; ну, а ему ничего: по Сеньке и шапка. Так вот, как я уж вам докладывала, оставалось благословить, да и к венцу. Приезжаю вчерась, смотрю, Аграфена Ивановна оглобли во-

ротит. Что, думаю, такое значит? Что-нибудь да не даром. И точно, сама Дашенька прислала мне сказать через девку, как вы думаете, ваше высокоблагородие, что бы такое?

– Право, не знаю, – отвечал Федор Петрович.

– Не знаете?

– Ей-ей, ничего не знаю!

– Ну, слава богу, что еще недалеко ушли замыслы Аграфены Ивановны! Позвольте узнать, каким образом вы познакомились с Петром Кузьмичем?

– Да я брал деньги в Совете.

– Собственные?

– Собственные.

– Ну, так, так! Чай, большая сумма?

– Нет, я часть только взял: тысяч двадцать пять.

– О-го-го, да чего ему больше! Вы, чай, в первый раз в Москве?

– В первый.

– Ну, так! он, чай, вам и квартирку предложил подле себя; чай, так и ухаживает около вас. Знаем! так вот оно что! оно то есть ничего: вздумал выдать дочь за высокоблагородного. Лицо Федора Петровича сравнялось цветом с воротником, он откашлянул и отер градины рукой.

– Как узнала я причину, так и бросилась к вам; перепугалась: думала, что уж Аграфена Ивановна обошла вас кругом: у-у-у, хитрая баба! да как взглянула я на вас, так и поуспокоилась: нет, этого человека не приманишь мокрой курицей;

и по красоте, и по высокому званию, и по великому состоянию ему подавай белую лебедь. А Дашенька, правду сказать, мокрая курица; я было и родственника отговаривала, да уж, верно, пришлось друг другу по сердцу... Так вот какие дела, ваше высокоблагородие, здесь у нас подчастую губят людей. Заведут, умаслят, упоят, да и женят, да уж и не спрашивай на ком.

– Скажите пожалуйста! – проговорил Федор Петрович.

– Ей-ей, так! Пронюхают у человека деньги, тотчас и с головой его в кошель... Я уж одной милости буду просить у вашего высокоблагородия... дайте мне честное слово...

– Сделайте одолжение, что такое?

– Только одной: не расстроивать свадьбу Дашеньки с моим родственником.

– Да у меня, ей-богу, и в голове не было.

– Э, сударь, нальют в горло, бросится в голову: приворожат.

– Слыхал я.

– Да такие ли еще вещи бывают! Одного, также богатого человека, завели, напоили шампанским с каким-то зельем, верно с дурманом, да и женили черт знает на ком; да мало этого: пьяному дали подписать бумагу, что все имение отказывает жене, обобрали, да и из дому выгнали. Ходит теперь по улицам да просит милостыню.

Федор Петрович вытаращил от ужаса глаза.

– Сделайте милость, прекратите это знакомство; не по вас

оно, ваше высокоблагородие: унижительно, да и к добру не поведет. Аграфена Ивановна – настойчивая женщина, что задумает – из-под земли выроет. Себя погубите да еще и свадьбу расстроите – грех. Послушайтесь моего совета.

– Да я... позвольте узнать имя и отчество?

– Василиса Савишна.

– Я, Василиса Савишна, и не думал; что мне, бог с ними!

Да и Дарья... как бишь...

– Петровна.

– Мне бог с ней! И шагу в дом не сделаю.

– Вот благородного-то человека и видно. Да позвольте уж доложить, что названию вашему неприлично и стоять-то в этой гостинице. Везде здесь, в Замоскворечье, всякой сброд останавливается. Здесь как раз мошенники оберут.

– Правду сказать, третьего дня один стянул у меня двадцать пять рублей, да еще шинель в придачу.

– Изволите ли видеть. Право, тотчас же переезжайте в гостиницу, где останавливаются одни господа. Лучше всего к Шевалдышеву на Тверской. Чай, вы здесь знакомство сделаете, так чтоб не стыдно и принять к себе.

– Как вы изволили сказать?

– К Шевалдышеву.

– Позвольте записать.

– Или нет, лучше к Печкину. Какие там машины! Как играют, чудо! Против Кремлевского сада.

– Против Кремлевского сада?

– Уж я вам столько благодарна, что и сказать нельзя! Из благодарности сама буду хлопотать о невесте. Есть у меня на примете: вот бы парочка. Молоденькая, первая красавица в Москве, ей-ей! С большим состоянием, свой огромный дом в Москве, именье в Московской губернии; отец и мать знатные люди; а какие добрые! Вот им такой бы зять по сердцу.

– Помилуйте-с, что ж особенного? – сказал Федор Петрович.

– Как что? В Москве, сударь, таких женихов немного. Да вот, если б только бог дал, вы увидели. Я уж найду случай показать вам. Из благодарности все сделаю!

– Покорнейше благодарю, Василиса Савишна.

– Вперед не благодарите. Там заводить не будут: то сами благородные люди, сами денежки-то считают тысячами. Как живут!.. Да сами, бог дает, увидите. Пора уж мне... Я вам советую скорее съезжать отсюда, да еще и не сказывать «куда, а то Петр Кузьмич... Не извольте ничего пить, чем потчевать будут, – прибавила Василиса Савишна шепотом.

– Нет! – отвечал Федор Петрович, – я сейчас же расплачусь и уеду отсюда.

– И лучше всего! Прощайте, ваше высокоблагородие. Так вы уж к Печкину переедете?

– К Печкину.

– Я буду непременно к вам, если позволите, завтра же, с хлебом-солью, с кренделем: уж так водится.

– Очень много буду обязан.

– Уж как вы меня обязали, что и себя и других в грех не ввели. А все деньги, деньги! Не будь у вас их, Петр Кузьмич и Аграфена Ивановна и на чин бы не посмотрели. Прощайте, батюшка!

Василиса Савишна, после десяти прощаний, отправилась. Федор Петрович задумался.

– Каковы шутки задумали! – сказал он, наконец. – Меня женить на своей шлюхе-дочке! Уж я бы скорее женился на Доне... будь она не просто мужичка, ей-богу, поехал бы, да и женился! Вот посмотрим, что за невесту предлагает Василиса Савишна?... Эй! Иван!.. найми извозчика переезжать отсюда да кликни хозяина.

Иван вышел и тотчас же опять воротился.

– Девка пришла. Петр Кузьмич и Аграфена Ивановна, говорит, кланяться приказали и звать к себе кофе пить.

– Скажи, что я уехал.

– А если спросят куда?

– Скажи просто, что не знаю.

– Да ведь я уж сказал, что дома.

– Э, дурак, зачем ты сказал?

– Да кто ж их знал?

– Ну, скажи, что мне некогда; сейчас еду по службе. Эх скверно! Петр Кузьмич сам прибежит.

– Ну, а я скажу ему, что барин уехал.

– Будет он смотреть на тебя! прямо сюда придет.

– Так вы извольте пойти покуда в трактир, где чай пьют.

– В самом деле. Приведи же скорее извозчика да укладывайся.

Федор Петрович оделся и вышел в бильярдную. Иван исполнил его приказание, передал ответ девке, сбежал вниз, нанял извозчика и, воротившись, начал укладываться. Петр Кузьмич действительно прибежал сам.

– Где барин?

– Уехал-с.

– Куда?

– А бог его знает, по службе.

– А ты для чего укладываешься?

– Да едем.

– Куда?

– А бог его знает, верно в полк.

– Как в полк? Да ведь Федор Петрович ожидает здесь отставки?

– Нет, – отвечал равнодушно Иван.

– Ай-ай-ай! Скоро воротится?

– Откуда?

– Да я не знаю, куда барин твой уехал.

– И я не знаю: пошел да сказал: укладывайся скорей!

– Как воротится, попроси его, пожалуйста, ко мне хоть проститься.

– Скажу.

– Не забудь же.

Петр Кузьмич ушел, повторяя про себя: «Что за чудеса!»



Между тем Федор Петрович расплатился с хозяином, Иван и шалил чемодан на дрожки и отправился вслед за барином, который велел своему извозчику ехать к Печкину.

Федор Петрович получил уже некоторое понятие о трактирной жизни. Заняв номер в пять рублей в сутки, он вышел в общую залу обедать и слушать, как машина музыку играет<sup>20</sup>.

Когда Петр Кузьмич, прибежав домой, рассказал Аграфене Ивановне о неожиданном отъезде Федора Петровича, она пришла в ужас.

– Да ты, мой батюшка, верно, наврал, что у него свои собственные деньги. Верно, он казенные принимал... да еще какой-нибудь игрок, гуляка.

– Помилуй, какие казенные, его собственные: наследство, на двести тысяч билетов.

– Уж что-нибудь да не так; тут какое-нибудь плутовство!

– Что за черт! Надо посмотреть, не фальшивые ли билеты... Что, как фальшивые! Ведь я сам хлопотал о выдаче... Да нет, он у меня не уйдет! Я сам пойду караулить его!

И Петр Кузьмич побежал опять в гостиницу. Но номер уже был пуст.

– Где офицер, который здесь стоял?

– Уехал-с.

Петр Кузьмич воротился, запыхавшись, домой.

– Что?

---

<sup>20</sup> Имеется в виду музыкальный инструмент с заводом.

– Какое-нибудь плутовство! Просто, тайно уехал! черт знает: сегодня заперто присутствие!.. Ах, я дурак! верно, фальшивы «билеты!.. Пропал!.. Постой, где письмо?... ведь Григорий Карпович рекомендовал мне его... верно, подложное... вот... читай!.. верно, подложное!.. Черт ее знает, как поверить руку!..

– Вот тебе, сударь, и жених-богач!.. Хороша и я, ни с того ни с сего, поверь словам твоим, что на дурака напала, протурила от себя Василису Савишну.

А Василиса Савишна легка на помине.

– Здравствуйте, матушка, Аграфена Ивановна!

– Ах, Василиса Савишна! а я только что с мужем говорила о вчерашнем. Он согласен.

– Поздно уже, сударыня; вот ваша роспись приданому, теперь уж этот лист не нужен.

– Послушайте, Василиса Савишна, с чего вы это взяли разводить дело?

– Я? разводить дело? что вы это, Аграфена Ивановна! Сами вы изволили сказать, что вам не по нутру жених; да еще и ни во что поставили мои хлопоты. Вот «вам, сударыня, извольте.

– Полноте, Василиса Савишна, совсем не так было. Я подсадовала только на твое требование. Да после одумалась: конечно, стоит ли расходиться за какую-нибудь дюжину ложек серебряных; пожалуй, хоть и две можно прибавить.

– Теперь уж хоть три прибавляйте.

— Где ж взять, Василиса Савишна, рады бы в рай, да грехи не пускают; и то последнее отдаем. Легко ли: пошить приданое, отсчитать три тысячки, да вам, за хлопоты, рублей сто; а свадьба-то что станет?

— Извините, пятисот не возьму начать снова дело.

— Зачем же начинать снова, Василиса Савишна?

— Как зачем? Просивши от вашего имени пожаловать на вечер, да вдруг обмануть? Ведь я сама хотела заехать за ним; а он напрасно прождал. Да что ж я ему скажу?

— Ах, матушка, да скажи, что заболела, не могла быть.

— Покорно благодарю, болезнь на себя наговорить! Да и в таком-то случае следовало бы послать сказать.

— Вижу, Василиса Савишна, ты думаешь, что уж тебе и за труды ничего не будет? Нет, не такие мы люди: последнее продам, а в долгу не буду. Чтобы ты не сомневалась, вот тебе задаток двадцать пять рублей.

— Покорно благодарю! мотала хвосты по вашим делам, да упустила не сотню какую-нибудь. Вчера прислала за мной Арина Карповна Кубикова, а я, сдуру: некогда теперь, завтра поутру буду. Пришла сегодня, ан уж нашлись дельцы.

— Уж поверь, что не обижу, Василиса Савишна: вот тебе двадцать пять на извозчика, не в счет благодарности.

— Нет, сударыня, Аграфена Ивановна, этим уж дела не поправишь! не стоит и хлопотать.

— Да что ж тебе, Василиса Савишна?

— Через вас потеряла я по малой мере триста.

– Где же взять нам таких денег?... мы сами жалованьем живем.

– Что ж делать! Была охота – даром готова была все делать для вас; охоту отбили – так извините.

– Не обижайте же и нас, Василиса Савишна.

– Сами себя обидели: угодно двести пятьдесят рублей, так и быть, пойду, хоть побои перенесу.

– Что ты это, Василиса Савишна, побойся бога!

– Да уж так, сударыня, ведь вы же говорили сейчас, что и две дюжины ложек ничего не стоит прибавить вам. Так полдюжинки в приданое, а за полторы-то мне сверх ста рублей. Ваши же слова: вам все равно, туда или сюда отдавать.

– Так зови сегодня на чай Бориса Игнатьича; а я уж поговорю с мужем; может быть, он согласится.

– С ним когда угодно разделявайтесь, а со мной теперь же кончим счета.

– Да неужели ты не веришь?

– Для чего же не верить! Теперь вы пожалуйста мне сто рублей, а после сговора остальные полтора ста.

– Как это можно, вперед сто рублей! Бог знает, еще пойдет ли дело.

– Уж об этом не беспокойтесь.

– Ну, так и быть, – сказала, наконец, Аграфена Ивановна, долго жавшись. Раз десять пересчитывала она четыре белевские бумажки, щупала и терла их, как будто колдовала, чтоб распластать каждую надвое.

## IV

Устроив одно дело, Василиса Савишна положила деньги в карман и – себе на уме – отправилась устраивать судьбу двух других существ.

«Терять времени нечего», – думала она; по дороге завернула в хлебню, купила большой крендель, усаженный изюмом и осыпанный миндалем, и – прямо к Печкину.

Между тем Федор Петрович на новоселье накушался досыта, наслушался органа вдоволь, пошел в свой номер и ничего лучше не придумал, как успокоиться после дневных забот. Но так как сон не вдруг принял его в свои объятия, то Федор Петрович долго осматривал комнату, в которую привела его судьба.

– Иван!

– Чяво изволите?

– А ведь здесь, брат, получше.

– Да хоть бы и в казармах такая фатера, – сказал Иван, стоя в дверях.

– Мебель-то не хуже полковницкой.

– Мебель знатная!

– Знатная, нечего сказать, – проговорил Федор Петрович, рассматривая молча и с удовольствием мебель. Глаза его, наконец, остановились на одном из стульев, мысли куда-то отправились. Иван постоял у дверей и также отправился в пе-

реднюю, присел на диванчике. Скука ужасная взяла Ивана:  
– То ли дело в полку, в деревне!

Прилег со скуки и не хуже барина захрапел. Вдруг стук-стук в двери.

– Кто там? – крикнул Иван спросонков.

– Пожалуйста, отоприте.

– К полковнику, что ль?

– К полковнику.

Иван вскочил, трет глаза, которые совсем слиплись, кинулся в комнату к барину.

– Ваше благородие! а ваше благородие!

– Уф! что такое? – спросил Федор Петрович с испугом.

– К полковнику пожалуйста, вестовой пришел.

– Давай скорее одеваться!

Иван бросился за мундиром, а Федор Петрович вскочил с дивана, смотрел вокруг себя как помешанный и не понимал, что это все значит: ему казалось, что он в полковничьих комнатах.

Между тем стукнули опять в двери.

– Кто там опять? – повторил Иван и с досадой отпер двери.

– Здравствуй, мой любезный, – сказала Василиса Савишна, входя в комнату.

– А я думал, что вестовой, – проговорил Иван. – Не почивает барин?

– Нет-с.

Федор Петрович не успел еще прийти в себя, вдруг слы-

шит женский голос.

– Полковница! – подумал он с ужасом, бросился в двери, столкнулся с Василисой Савишной и стал в пень.

– Добрый знак, сударь, Федор Петрович, жить вместе!

– Ах, это вы... извините!

– Нет, уж прошу покорно, оставайтесь так, как есть, со мной не для чего церемониться... честь имею поздравить на новоселье... прошу принять хлеб-соль.

– Покорнейше благодарю!

– С чайком вам очень хорошо... свеженькой...

– Так вот, кстати, не прикажете ли чаю... Иван! чаю спроси.

– Есть кого угощать! экую харю! – пробормотал про себя Иван.

Василиса Савишна не хуже какого-нибудь краниолога<sup>21</sup> понимала людей, знала, кому с какой песни начинать и чем кончать.

– Извините, Федор Петрович, что я так к вам поторопилась; во-первых, с радости: представьте себе, как только Аграфена Ивановна потеряла вас из виду, тотчас образумилась.

– Ну, слава богу! я очень рад!

– Всем обязана вам. Другой бы назло расстроил дело, а

---

<sup>21</sup> Краниолог – специалист по изучению строения черепа человека. Некоторые из краниологов, предполагая, будто склад человеческого характера зависит от строения черепа, пытались строить характеристики людей на базе краниологического исследования.

вы – благороднейшая душа. Ну-с, во-вторых, я. еду сегодня к господам, о которых я вам говорила; мне хотелось им что-нибудь пообстоятельнее об вас сказать. Так мне нужно было бы знать, в чем все ваше достояние заключается: в душах ли, в капитале ли...

– Да вот, можно видеть из бумаг после покойного родителя.

Федор Петрович достал из чайного ларца, заменявшего у него шкатулку, бумаги.

– Не угодно ли прочесть?

– Потрудитесь уж сами, я ведь плохо грамоте знаю. Федор Петрович прочел копию с духовной, от которой разгорелось лицо у Василисы Савишны.

«Тут будет пожива!» – думала она.

– Билеты я получил, а в имении еще не был.

– Я как отгадала, что вы ровня по состоянию с своей суженой. Ей-богу! вперед говорю, что этому делу быть. Что за ангел суженая ваша! Да вот, бог даст, увидите. Только уж когда пойдет все на лад, позвольте мне, Федор Петрович, на ваш счет колясочку нанимать, потому что состояния я не имею, а просто на дрожках от вашего имени ездить мне в дом непристойно.

– Так вот, не угодно ли на расходы, какие случатся, двести рублей.

– Нет, нет, нет! Как это можно! ни с того ни с сего да за деньги, как будто наговорились: вы бог знает что подумаете!



– Сделайте одолжение!

– Нечего делать. Оно, конечно, все равно, теперь или после; нельзя же без маленьких расходов. Так я уж медлить не буду: сегодня же легкой день; еду туда. Завтра в эту пору извещу обо всем. Прощайте, Федор Петрович!

Когда Василиса Савишна ушла, Федор Петрович долго ходил по комнате, потирая руки, поглядывая на диван с боязною прилежностью на него, чтоб опять не испугал денщик внезапным требованием к полковнику. В иную минуту он готов был раздать все свои деньги, чтоб только увериться, что они действительно ему принадлежат; но вдруг находило на него сомнение: «Черт знает, не полковые ли это деньги и не требуют ли в них отчета? Постой-ка, сколько я истратил?»

И начнет считать; но бумажки так и липнут друг к другу, – толку не доберешься.

Очень естественно, что Василиса Савишна не медлила явиться запыхавшись и к Софье Васильевне.

– Ну, матушка-сударыня, Софья Васильевна, клад вам бог посылает!

Надо вам сказать, что Софья Васильевна решительно принялась за попечение поправить дела свои выдачей которой-нибудь из дочерей замуж. Она Василисе Савишне прямо сказала:

– Послушай, мать моя, тысячу рублей и ежегодно пенсия хозяйственными припасами: муки, круп, капусты, грибов, всего вдоволь, только скорее отыщи жениха с хорошим со-

стоянием.

Василиса Савишна поняла по-своему, в чем дело.

– Кто ж он такой? как же его видеть? – спросила торопливо и Софья Васильевна на радостное извещение о кладе.

– Полковой, сударыня, чином высокоблагородный, молодец собою, только что получил в наследство триста душ, да чистыми деньгами, матушка, двести пятьдесят тысяч!

– Как же бы на него посмотреть?

– Да прямо у вас в доме, чего ж лучше? Мы устроим дело: нет ли у вас чего-нибудь продажного в доме?

– Продажного... право, не знаю.

– Экипажей, лошадей или чего-нибудь, лишь бы была причина приехать в дом, как будто для покупки.

– Ах, в самом деле! Петр Григорьевич думал продать дорожную коляску да пару лишних лошадей.

– Ну, вот вам и казус.

– Когда ж?

– Без отлагательства, завтра же; это такой человек, что мешкать нельзя. Да позвольте же узнать, которую дочку вы прочите вперед выдать?

– Да если таков он, как ты описываешь, так старшую.

– Ну, конечно, уж, сударыня, старшую, – сказала Василиса Савишна значительно, – ей след выходить замуж. Меньшая ваша дочка еще ребенок, пусть себе еще понагуляется да понатешится.

– В которое же время? я думаю, перед самым обедом.

– Конечно, кстати можно пригласить и обедать. Пожалуйте же мне записочку, что вот там-то и там, у таких-то господ продается коляска и лошади.

Софья Васильевна пошла к Петру Григорьевичу в кабинет.

– Ты хотел продавать коляску и пару лошадей, я нашла купца; напиши только адрес; завтра он будет.

– Я и свою карету бы кстати продал, и все лишнее.

– Ну, тем лучше; но сперва напиши только, что продается хоть коляска; а потом, смотря по купцу, увидишь, что можно сбыть ему с рук.

На другой день около обеда Петр Григорьевич и Софья Васильевна похаживали вдоль по комнатам и посматривали в окна вдоль по улице. Только что какой-нибудь офицер пронесется в экипаже, то или Петр Григорьевич, или Софья Васильевна, кто прежде вскрикнет: «Не это ли он?»

– Да это не может быть! – повторял, между прочим, Петр Григорьевич.

– Отчего не может быть?

– Да оттого, что пустяки! Ну, возможно ли, чтоб человек с таким состоянием... вот едет!.. Ну, именно, дрянь какая-то, в скверной шинелишке, в измятой шляпе, вместо султана дохлая курица воткнута. Эй!.. вон приехал офицер, так проси!..

Вот явился Федор Петрович налицо. Воротник как петля задушил его, так что глаза выкатились; мундир перетянут в

рюмочку. Но Федор Петрович прост, а не робок. Шаркнул поклон.

– Покорно просим! – сказал Петр Григорьевич довольно сухо. Где ж мужчине понимать людей. Софья Васильевна, напротив, очень приветливо повторила: «Покорно просим!»

Федор Петрович присел на кончик стула, вынул прежде всего платок и обтер лицо.

– Вам угодно купить коляску и лошадей? – спросил опять сухо Петр Григорьевич.

– Так точно-с, имею желание.

– Так можно посмотреть.

– Вы, верно, недавно здесь? – спросила приветливо Софья Васильевна.

– Так точно-с, по делам.

– По делам службы?

– Так точно-с. Нет-с, виноват, я приехал по наследству-с.

– Вероятно, тяжба?

– Никак нет-с, получить деньги.

– Из Совета?

– Так точно-с.

– И не встретили затруднений? Кажется, большие суммы на некоторое время приостановлено выдавать.

– Точно так-с. Выдали покуда двадцать пять тысяч: вдруг, сказали, нельзя такой большой суммы выдавать.

– Вы намерены продолжать службу или останетесь жить в Москве?

– Ожидаю отставки-с.

– Да, здесь можно домком завестись, – сказал улыбаясь

Петр Григорьевич.

– Так точно-с, думаю и дом купить-с.

– А вот, нравится ли вам этот дом?

– Очень-с, прекрасный дом.

– Да, дом не дурен, барский дом, я бы его продал.

– Ей-богу-с?

– Полно, Петр Григорьевич, что это ты шутишь; зачем нам продавать дом?

– Ах, матушка, затем, чтоб другой купить. Я бы его дешево отдал.

– А как-с, позвольте узнать?

– Да за пятьдесят тысяч, со всею мебелью.

– Что ж, если позволите, я куплю.

– Очень рад, что нашел такого скорого покупателя; остается вам осмотреть его.

Софья Васильевна просто пришла в отчаяние и готова была вцепиться в мужа. В ней кипело какое-то чувство ревности, как у купца, у которого отбивают покупателя: она пригласила человека, чтоб сбыть ему которую-нибудь из дочерей, а Петр Григорьевич воспользовался случаем и сбывает ему втридорога дом.

Извольте, господа, решать тяжбу между Софьей Васильевной и Петром Григорьевичем. Вопрос: имеет ли право так поступать Петр Григорьевич с Федором Петровичем? Но

прежде надо определить, под каким именем вызвать Петра Григорьевича к суду: как хозяина дома или как отца дочери, которая могла выйти замуж за Федора Петровича. Вызовем как того, так и другого.

– Извольте, Софья Васильевна, отвечать: для какой целят вы пригласили в дом Федора Петровича?

– Как человека, который мог составить партию моей дочери, как жениха.

– Хорошо-с; теперь вы, Петр Григорьевич, отвечайте: с какой же стати, вместо жениха, вы приняли его за купца?

– А с такой стати, что он приехал в дом под видом купца, а не жениха, торговать коляску и лошадей. Кстати началась речь о покупке дома, я и предложил ему купить мой дом. Он с радостью согласился; а жена только что в волосы мне не вцепилась и расстроила дело.

– Слышите, Софья Васильевна? Какое ж право имели выйти из себя и расстроить дело?

– Слышите! человек обирает будущего своего зятя, а я молчи! Отец будет пить кровь своих детей, а мать – молчи!

– Что вы скажете на это, Петр Григорьевич?

– А то, что он мне не зять.

– Но он мог быть зятем, а ты расстроил дело; у тебя в голове были только свои собственные выгоды, а не счастье дочери!

– Как хозяин дома, я и должен был заботиться прежде об общем благе, а не о счастье одной дочери.

– Прежде всего надо быть отцом, а потом хозяином дома!

– Гм! если б ты была, кроме доброй матери, и хорошей хозяйкой, мне бы не нужно было думать о продаже дома.

– Гм! если б ты был, вместо дрянного хозяина, добрый отец...

Софья Васильевна не договорила, слезы хлынули градом, она зарыдала.

Судьи пожали только плечами. Тем и кончился вообразимый суд. Петр Григорьевич и Софья Васильевна сели за стол. Петр Григорьевич был очень доволен собою, а Софья Васильевна несколько сердита. Но чтоб успокоить читателей и уверить, что продажа дома не развела дела, затеянного Софьей Васильевной, – дорогой гость, купец и вместе жених, Федор Петрович, сидел за столом на почетном месте; подле него сидел хозяин проданного дома, напротив – Саломея и Катенька, две невесты на выбор или какую бог пошлет.

## V

Когда ухаживают за деньгами, тогда гладят и мешок, который заключает их в себе. Не удивительно, что и Федор Петрович, который, был чрезвычайно мешковат, показался Петру Григорьевичу и Софье Васильевне оригинальным человеком, с своими собственными манерами, с своими причудами казаться простяком и необразованным, и даже с своим собственным наречием. Катенька не рассуждала, каков он, но

смиренно и внимательно слушала, что говорят папенька, маменька и что отвечает им гость. Саломея Петровна, напротив, не слушала ни папеньки, ни маменьки, но прищурясь, с сухою усмешкою осматривала председателя гостя и иногда только прерывала русский разговор французским вопросом у матери: «Что это за человек?» «Это какой-то медведь; откуда он приехал?» Или приказывала сестре налить себе воды.

Когда зашел разговор о баштанах и огородах, она спросила по-русски шепелявым языком на манер французского:

– Из чего делаются огородные чучелы?

Софья Васильевна покосилась на дочь, хотела замять ее вопрос каким-нибудь другим вопросом, но Федор Петрович, как учтивый кавалер и знающий, что такое чучело, не упустит отвечать:

– Огородные чучелы разные бывают-с: ворону дохлую вешают, или кафтан распрялут на палке.

Без Софьи Васильевны положение Федора Петровича было бы затруднительно. Саломея Петровна загоняла бы его; Петр Григорьевич, как мужчина, своими рассуждениями поставил бы его в тупик, и Федора Петровича не заманить бы вперед и калачами; но Софья Васильевна так умела ловко спрашивать, подсказывать ответы, а иногда и отвечать вместо гостя; так умела внушить в него доверенность, что он мил, любезен, умен, остер; так умела поджечь душевное довольствие самим собой и всем окружающим, что Федор Пет-



рович разгуторился, разговорился и так легко себя чувствовал, как будто в обществе своей собратий офицеров. О, это совсем не то, что у Петра Кузьмича, где он сидел как связанный, не зная что говорить с Аграфеной Ивановной и с ее жеманной дочкой. Там ему все как будто стыдно было, неловко, все хотелось уйти домой, да не пускают. Только Саломея Петровна как-то мешала ему: он на нее и смотреть боялся, смотрит только на Катеньку. После обеда предложили Федору Петровичу сесть в вист. Катенька села подле маменьки. Саломея Петровна ушла в свою комнату и занялась беседой с Маврой Ивановной, которую, вы помните, она решилась очаровать своим умом, добротой и великодушием, чтоб доказать ей, как глупы люди, которые хвалили дочку Софьи Васильевны, Катеньку, а не Саломею. Это чувство ревности к слухам глубоко затронуло ее, и она умасливала старушку своими ласками и вниманием донельзя, затерла в глазах ее Катеньку, не даст Катеньке слово промолвить с старушкой, не только что чем-нибудь угодить ей. Подобная предупредительность, при которой все другие остаются назади, имела свое влияние. Катенька перед Саломеей Петровной казалась девочкой самой обыкновенной, только что не деревенской. А Саломея Петровна, осыпая то ласками, то подарками, поневоле вызывала восклицание: «Какой ангел!»

Как ни удивлялась старушка Мавра Ивановна доброте Саломеи, как ни приятна ей была сначала эта доброта, в которой она видела уважение к своей старости, но вскоре что-

то тяжелы стали Мавре Ивановне ласки Саломеи Петровны; точно как будто бы старушка становилась рабой прихотливой девочки: смертельно хочется домой отдохнуть, — «нет, нет, нет, не пущу вас, Мавра Ивановна!» — Мавра Ивановна и оставайся. Мавра Ивановна и ночуй, когда то угодно Саломее Петровне.

— Матушка, мне надо завтра рано вставать к заутрене; а вы долго изволите почивать: чтоб не потревожить вас.

— Нет, нет, нет! Я сама рано встану! — И уложив Мавру Ивановну подле себя, проговорит с ней целую ночь и уснет перед заутреней.

Мавра Ивановна и слышит колокол, да встать не смеет, чтоб не потревожить сладкого сна Саломеи Петровны.

Все это так тяжело Мавре Ивановне; да что будешь делать: за оказываемые ей ласки нечем платить, кроме повиновения. Иногда Мавра Ивановна утомится, сходит к празднику к обедне, рада бы соснуть; да Саломея Петровна карету прислала, просит к себе пожаловать, и поезжай! Совесть: как можно, чтоб даром карета прокатилась!

На другой же день Василиса Савишна успела побывать у *обеих сторон*.

— Ну, что, сударыня, Софья Васильевна, как вам понравились?

— Бог знает, милая, как тебе и сказать. Только уж во всяком случае это не жених Саломее. Катеньке — дело другое.

— Не понимаю, а кажется кавалер на редкость.

– Да не для Саломеи; ей избави бог и сказать об этом; она скорее умрет.

– Вот, сударыня, Софья Васильевна, и затруднение! Сами вы говорили, что старшую наперед отдадите, я так и дело вела; о Катерине Петровне и слова не было. Уж знать бы, так Саломею Петровну и не показывать на первый раз. Катерина Петровна красавица, нечего сказать, да очень молода и не кидается в глаза.

– Ты, Василиса Савишна, перерви как-нибудь дело.

– Право, сударыня, я уж и отчаиваюсь, уж знаю вперед, что такой человек, как Федор Петрович, прельстился Саломеей Петровной; и как заберет в голову, так не скоро выбьешь.

– Гм! – грустно произнесла Софья Васильевна, – правда твоя, – при Саломее Кати не заметишь. Я же ее по сю пору ребенком держу.

– Вот то-то и есть! Поеду, узнаю, что и как.

– Поезжай, да тотчас же приезжай сказать мне.

– Не буду медлить. На всякий случай придумаю какую-нибудь штучку, чтоб отклонить его от Саломеи Петровны.

– Зови его сегодня на вечер к нам; я Саломею куда-нибудь отправлю.

– Уж, конечно, матушка: нет солнца, и месяц светел. Прощайте покуда, сударыня...

Федор Петрович мечтал, расхаживая по комнате, когда Василиса Савишна явилась к нему.

– Здравствуйте, батюшка, Федор Петрович! По лицу ви-

жу, что вы веселы и радостны. Как изволили ночевать, не было ли чего в думке, не приснился ли кто-нибудь? Довольны ли, сударь, знакомством?

– Очень-с! Не прикажете ли чайку?

– Не лишнее. Ну-с, как же вы провели время?

– Очень, очень хорошо-с, прекрасные люди! Уж видно, что знатные.

– Что ж вам особенно-то понравилось, Федор Петрович?

– Все понравилось! Признательно сказать, что уж тут похулить нечего.

– Да особенно-то что?

– И дочка понравилась! такая миленькая! Не понравилась мне только француженка, гувернантка, что ли.

– Какая француженка?

– Да все по-французски говорила: мадам Саломэ, кажется.

– Мадам? Что вы это, Федор Петрович, это старшая дочка.

– Неужели? Так которая ж невеста-то?

– Обе невесты, да вам бог верно судил и само сердце избрало меньшую.

– Меньшую? Катеньку? славная девочка! а правду сказать, и та хороша, на вид еще авантажнее. Ну! какого же я промаху дал! Вообразил, что она француженка.

– Э, ничего, Федор Петрович, что за беда такая.

– Как что за беда! как-то стыдно.

– Ведь я не перескажу.

– Пожалуйста, не сказывайте; а то я в глаза не взгляну,

право!

– Не бойтесь. Так дело решенное. Софья Васильевна просит вас сегодня на чашку чаю.

– Да как же, Василиса Савишна, за которую же вы будете меня сватать?

«Вот тебе раз! – подумала Василиса Савишна, – уж я знаю, что он привяжется к Саломее Петровне!..»

– Помилуйте, Федор Петрович, не на обеих же вам жениться! Ведь вам понравилась Катерина Петровна; чай, вы уж и присматривались в нее...

– Оно так, да та повиднее, и голос-то какой! уах!

Федор Петрович совершенно смутил этими словами Василису Савишну; она боялась противоречить ему и отклонять его воображение от *повиднее*. Совет ни к чему не вел с таким человеком, а начать хулить Саломею и расхваливать Катеньку также неудобно: подумает, что хотят Катеньку насильно навязать на шею.

– Насчет выбора невесты, Федор Петрович... Не мы выбираем, а сердце, говорю вам.

– Оно так, Василиса Савишна, да как узнать-то: кто ее знает, которая лучше приходится... Нечего сказать, Катенька хороша, да не так видна.

– Молода еще, молода; посмотри-ко, как она выправится, как выйдет замуж!

– Дожидай, покуда выправится; а та уж выправилась, – царицей! А голос-то какой! уах!

– Что правда, то правда, – отвечала Василиса Савишна, которая видела, что плохо дело, – зато рассматривайте сами: одной семнадцатый годок, только что расцвела; а другой, Софья Васильевна говорит, двадцать пятый, ан и все двадцать восемь. По годам-то, может быть, и старенька уж для вас. Вам сколько лет?

– Тридцать пять.

– Вот видите ли! десяток еще пройдет, вы-то будете во всей красе мужчина; а супруга-то ваша в сорок-то лет бабий век кончит.

– Гм! – произнес Федор Петрович, задумался и начал гладить затылок.

– Лучше всего положимся на божью волю. Вот побываете еще разика два, три, увидите сами. Чему быть, тому не миновать: увидите, которой и вы понравились. Нельзя же жениться без обоюдной любви.

– Так!.. да черт знает, как же заметить, которой из них понравиться? А если той и другой?

– Этого не бывает.

– Как не бывает! – вскричал Федор Петрович, – да у нас в полку было: в прапорщика Душкова влюбились две сестры. Да еще как подрались-то за него!

– Ах, батюшки, казус какой!.. Ну, верно уж это случилось где-нибудь на городке.

– На городке! нет, не на городке, а в поместье.

– Этого, Федор Петрович, здесь не случится: надо вам и

ту правду сказать, что старшая-то дочка Саломея Петровна, кажется, и не расположена замуж выходить, потому что двум женихам уж отказала.

– Вот видите ли! – сказал Федор Петрович, – что ж за охота свататься; а как она и мне откажет?

– Катерина Петровна не откажет.

– Это все уж не то: наверняка не так забирачительно.

– Вот опять не то; ну, увидим, как будет, – сказала Василиса Савишна, чтоб скорее отделаться от нерешительности Федора Петровича, в семь часов вас ждут, ровнехонько в семь часов. Пожалуйста, не промешкайте; в таком случае не годится промешкать. А теперь съездите-ко к Иверской да отслужите молебен, так дело-то будет лучше. Или, уж позвольте, я за вас отслужу.

– Сделайте одолжение, Василиса Савишна!

– Да не скупитесь, сударь: всякой раз, как приедете в дом, жалуйте людям на чай, – лучше прислуживать вам будут.

Василиса Савишна, не распространяя вдаль разговора, поскакала с вестями к Софье Васильевне и напугала ее.

– Я Саломею отправлю на вечер к тетке, – сказала она. – И всякий раз, когда буду приглашать его, Саломеи не будет в доме, чтоб он из головы ее выкинул. А Катю принарядим; наложу ей локоны, чтоб не казалась слишком молода.

Как сказано, так и сделано. Когда Федор Петрович явился, это засадили тотчас же за вист, и в продолжение целого вечера он не видал *мадам Саломэ*, а Катенька, в накладных

огромных локонах, но раздумываясь живым румянцем молодости, просидела весь вечер подле матери, просмотрела от нечего делать весь вечер на гостя, не зная того, что он ей суженый.

Несколько уже вечеров Федор Петрович провел в доме, не видя Саломеи Петровны и не заботясь о ней, потому что Катенька так показалась ему хороша в локонах, что уж лучше нельзя быть.

– Что ж это вы мало говорите с невестой? – повторяла Василиса Савишна.

– Да как-то все еще не пришлось. Сегодня непременно пушусь в разговоры с ней.

– Пора решить дело; Софье Васильевне неловко начинать самой. Сперва покажите ваше внимание дочери, а потом и к маменьке подсядьте, да без больших церемоний, Федор Петрович: отказа не будет.

– Да что ж это старшая-то, как бишь ее?

– Об ней нечего и говорить. Между нами сказать, Софья Васильевна объявила сначала ей, что вот бог посылает жениха – она и слышать не хотела и не хочет показываться на глаза.

– Э, да что она мне! я так, из любопытства.

– Так вы просто скажите Софье Васильевне, что, дескать, вам известно, Софья Васильевна, мое желание, – она уж поймет.

– Я долго не буду откладывать, – сказал Федор Петро-



вич, — чем скорее, тем лучше!

Так бы и сделалось, да не сделалось так.

Сперва домашняя челядь между собою: шу-шу, шу-шу! Потом спальные девушки нашушукали Мавре Ивановне, что, дескать, у нас, сударыня, в доме жених; хотя невзрачен, да очень богат. Всякой раз, как ни приедет в дом, бросит в передней двадцать пять рублей. За него прочат Катерину Петровну, потому что Саломея Петровна отказалась и видеть его не хочет: как приезжать ему, так она и вон из дому.

Мавра Ивановна при первом же случае, оставшись ночевать у Саломеи Петровны, проговорила ей.

Саломее Петровне спать не хотелось.

— Расскажите что-нибудь, Мавра Ивановна.

— Да что ж рассказать-то вам, сударыня моя?

— Ну, хоть как вы замуж вышли.

— Что ж тут рассказывать-то, вышла да и вышла; а вот вы-то не выходите.

— Это не так легко.

— Да что ж тут и трудного-то; вот меньшая-то сестрица выйдет замуж, а вы опять будете сидеть в девках, сударыня; э-хе-хе! разборчивы оченна!

— Нисколько не разборчива; да, слава богу, и выбирать не из чего.

— Полноте говорить, Саломея Петровна! к вам небось никто не присватывался?

— Присватывался! — произнесла с презрительной усмеш-

кой Саломея Петровна.

– Ну, вот видите ли, зачем же отказываться от того, что бог посылает? Вот сестрица-то, наверно, не откажется; невзрачен, да зато очень богат.

– Кто? – спросила с удивлением Саломея Петровна.

– Чай, вам лучше известно.

Этих слов достаточно было для Саломеи Петровны, чтоб понять, в чем дело.

«А! так это жених Кати! – подумала она с чувством озлобления, – от меня скрывают!.. чтоб я не помешала!.. Хорошо! Мне в десять лет не нашли жениха... а любимая дочка, только что из пеленок, уж ей и жених готов!..»

– Вам кто сказал, Мавра Ивановна, что он очень богат?

– Кто ж скажет, как не люди; говорят, так и сыплет деньгами.

– Счастье Кате: не всякой удастся выходить замуж без приданого.

– А дом-то, сударыня, не много не приданое да сорок тысяч деньгами.

– О, так вы всё знаете! – проговорила Саломея Петровна дрожащим от досады голосом.

– И, сударыня, что от людей укроется: при них ведь водили по всему дому и показывали все углы.

– Покойной ночи, – сказала Саломея Петровна Мавре Ивановне.

В душе ее громовые тучи ходили, вся внутренность буше-

вала.

«Вот как! для меня нет ничего, а для Кати дом в приданое и деньги нашлись!»

Злоба сосала сердце Саломеи; она беспокойно проворочалась на постели остаток ночи. Все утро просидела она в своей комнате, жалуясь на головную боль; вышла к обеду, и как будто ни в чем не бывало.

— У княгини сегодня вечер, так ты, душа моя, поезжай опять с теткой и извинись, что сама я никак не могу быть; скажи, что с неделю мне очень нездоровится.

— Да не лучше ли и мне дома остаться?

— Что тебе делать дома, будешь скучать. Поезжай, поезжай, друг мой!

— Хорошо, я поеду! — сказала Саломея. И точно, поехала.

Часов в семь явился Федор Петрович. Катенька, разряженная, ожидала уже его с трепещущим сердцем: маменька объявила ей уже, что Федор Петрович жених ее и потому она должна принять его как можно ласковее, говорить с ним как можно приветливее, а если он объявит ей желание свое, то сказать, что это зависит от папеньки и маменьки и что с своей стороны она готова принять с удовольствием предложение.

Сердце и рассудок Катеньки не умели прекословить воле родительской.

Федор Петрович явился. Дверь в залу распахнулась перед ним с возгласом: «Пожалуйте». Федор Петрович вошел ти-

хонько в гостиную; в гостиной только Катенька сидит уединенно с книгой в руках, разряжена, в локонах, только что не при пудре.

Вся вспыхнув, она встала и с трудом проговорила:

– Маменька скоро войдет, покорнейше прошу.

Федор Петрович сел, откашлянувшись, хотел говорить, да чувствовал, что надо обождать немножко, потому что вся кровь вступила в лицо и совсем задушила – слова нельзя сказать не откашлянувшись.

– Жаркое время, – сказала Катенька.

– Очень-с, – отвечал Федор Петрович.

– Сегодня, кажется, в воксале бал?

– Не могу знать... наверно-с.

После этого краткого вступления в разговор пролетел, как говорится по-русски, *тихий ангел*.

– Вы видели эти картинки? – спросила снова Катенька, взяв со стола тетрадку видов Рейна.

– Нет-с, не видал, – отвечал Федор Петрович, взяв тетрадку в руки.

– Прекрасные картинки.

– Кто это делал-с?

– Это в Англии гравировано.

– В Англии-с? Это удивительно!

– Бесподобная гравировка!

– А позвольте узнать, что они представляют?

– Разные виды.

– Виды-с? – сказал Федор Петрович значительно, – в первый раз вижу-с, бесподобно.

Но Федор Петрович смотрел и ничего не видал; наконец, положив книгу как вещь, которая была не по его части, уставил снова глаза на Катеньку и снова стал откашливаться, а Катенька снова потупила стыдливый взор в землю. Живой румянец играл на ее щеках, она была очень мила.

От головы Федора Петровича прилив отхлынул, он стал смелее осматривать смущенную Катеньку и, наконец, собрался с духом.

– Вы, я думаю, также изволите петь? – начал он.

– Да, я пою немножко, – отвечала Катенька.

– Чудный голос у сестрицы вашей, такой звонкой, что... как бы это сказать-с...

– Да-с, – отвечала Катенька.

– Вы, я думаю, слышали, Катерина Петровна, – начал снова Федор Петрович, помолчав немного и откашлянувшись.

– Как сестрица поет? Как же не слышать, – сказала Катенька простодушно, не вникая в вопрос.

– Слышали-с?... Да я не то хотел сказать, Катерина Петровна, я хотел сказать, изволили ли вы слышать, вот насчет того-с...

– Насчет чего? – спросила Катенька.

– Насчет того-с, что вот я-с... если б был столько счастлив...

Федор Петрович приостановился, чтоб собраться с духом.

Вдруг послышались чьи-то шаги; зашумело платье, кто-то сошел.

Федор Петрович смутился, взглянул... Саломея Петровна уже в гостиной.

– Ах, сестрица! – вскричала Катенька.

– А ты меня не ожидала? – ответила Саломея, кланяясь Федору Петровичу, который встал с места и расшаркался.

– Ты, Катя, кажется, куда-то собралась?

– Нет, никуда, сестрица!

– К чему ж это ты так разряжена? Что-то такое в тебе странное! Ах, боже мой, накладные локоны!.. Ах, как ты смешна и них!.. Что это маменьке вздумалось позволить тебе нарядиться шутихой?... Вы давно уж у нас?

– Сейчас только-с, – отвечал Федор Петрович.

– Очень приятно! Сделайте одолжение, садитесь!.. Катя, подай, милая, мне скамеечку под ноги!.. Как вам нравится Москва?

– Очень нравится-с... Нельзя не понравиться-с, такой город...

– Не удивляюсь, здесь очень приятно можно проводить время, особенно у кого есть состояние. Вы, я думаю, уже осмотрели все редкости Москвы?

– Признаюсь, времени не было-с... все ездил по делам-с... переезжал с квартиры на квартиру-с...

– Ах, пожалуйста, посмотрите, здесь столько любопытного, столько интересного!

– Непременно-с! при первом же случае...

– Непременно осмотрите, это стоит вашего внимания. Вы здесь на время или проездом?

– Нет-с, я хочу выйти в отставку-с... хочу пристроиться... так чтобы уж... основаться, то есть, здесь...

– Ах, как умно вы делаете; ну, что служба! я думаю, вам надоела?

– Да-с, немножко, нельзя сказать, чтоб... уж, конечно, служба всё не то-с...

– О, я верю вам; прослуживши, надо испытать и удовольствия жизни, посвятить себя семейству, не правда ли? – спросила с нежной улыбкой Саломея.

– Совершенно так-с, – отвечал Федор Петрович, подтянув галстух повыше.

– О, я с вами согласна. Куда ты, Катя?

– Я сейчас приду, сестрица.

– Вас, я думаю, не заняла сестра, промолчала все время.

– Ах, нет-с, они изволили говорить со мной.

– Говорила? вот чудо! от нее слова не добьешься! Почти двадцать лет, а по сию пору смотрит ребенком, не правда ли?

– Да-с, они очень молоды.

– Но в эти годы стыдно уже быть ребенком. И вам не жалко будет расстаться с мундиром?

– Что ж делать-с, конечно, привычка – вторая натура, да что ж делать-с!

– Именно. Я откровенность очень люблю. Вы не поверите,

как мало откровенных мужчин!

– Неужели-с?

– Уверяю вас, а потому разговор с ними так связан, так скучен. Мне кажется, военные люди всегда прямее, откровеннее и бесцеремоннее статских.

– Это точно так-с, истинная правда! – сказал Федор Петрович и невольно приосанился.

– Очень рада, что сошлась с вами в мнении; я ужасно как не люблю церемоний, люблю говорить и действовать прямо... Я думаю, и вы также?

– Вы угадали-с.

– Кажется, маменька идет... Очень жаль, что наш откровенный разговор прерывается.

– Ах, Саломэ, ты уж воротилась? каким это образом?... Очень приятно, что вы пожаловали к нам, – сказала Софья Васильевна, обращаясь к Федору Петровичу с принужденной улыбкой, между тем как досада, что Саломея воротилась очень некстати домой, ясно выражалась у нее на лице.

– А где же папа?

– Его нет дома, мой друг. Что ж ты не поехала на вечер к княгине?

– Ах, скука какая эти вечера, тапан; я приятнее проведу время дома. Вот, может быть, мы сядем в вист: я буду играть за батюшку, – сказала Саломея, обращаясь к Федору Петровичу.

– Очень приятно-с, – отвечал Федор Петрович, – с вели-



ким удовольствием-с, если угодно, я всегда готов-с.

Хоть это распоряжение Саломеи было очень неприятно Софье Васильевне, но нечего было делать, гость изъявил свое согласие играть. «Впрочем, – думала она, – лучше заняться игрой, нежели разговором».

Стол поставлен; сели; играют; но Софья Васильевна не замечает, что делает Саломея. Взгляды ее на Федора Петровича не просты. Федор Петрович сроду не чувствовал такого влияния глаз. Эти глаза вызывают его на вист. Он бы, наверное, проиграл, но Саломея Петровна с намерением вдвое проигрывает. Наконец, игра кончена – считаются. Саломею следует платить.

– Заплатите за меня, тамап, – говорит она матери по-французски.

Софья Васильевна идет за деньгами.

– Позвольте за вами оставить до другого разу, – говорит учтивый Федор Петрович.

– Ах, боже мой, да удастся ли мне с вами играть? – отвечала Саломея грустно.

– Почему же-с?

– Когда вы у нас будете?

– Как прикажете-с.

– Завтра будете? Завтра батюшки опять не будет дома, и я буду играть вместо его.

– С особенным удовольствием.

Саломея Петровна знала, что на завтра взят уже билет в

концерт и никого не будет дома.

Поутру Василиса Савишна явилась к Федору Петровичу, чтоб узнать, чем решилось дело; но Федора Петровича не было уже дома, он отправился на почту, справиться, нет ли известий из полка. Потом, исполняя данное слово Саломее Петровне, отправился осмотреть московские редкости.

– Где тут московские редкости? – спросил он извозчика, – ступай туда!

– Редкостные вещи? Какие же, ваши благородие?

– А почему я знаю, я их еще не видал.

– Стало быть, пушка большая да колокол?

– Что ж тут удивительного в пушке? пушки я видал и осадные.

– А такую видали – с дом?

– С дом? Эво!

– И Ивана Великого не видали, ваше благородие? – Кто такой Иван Великий?

– А колокольня-то в Кремле.

– Да отчего ж она Иван?

– Как отчего? оттого что диковинка. На ней, чай, два ста колоколов. Как во все ударить, так по всей земле слышно; да указом запрещено. Как были здесь французы, да и ударили было во все, чтоб, видишь, дать знать в свою землю, что им плохо приходится, ан все стены так и посыпались, словно песчаные, и Палевона-то задавили было. А про большой колокол и говорить нечего. Как вылили его, повесили да ле-

гонько раскачали язык, как заревел: земля так и заходила. Все перепугались, и не приведи господи как! Да три лета гудел, пока совсем утих.

Нельзя было Федору Петровичу не поверить этим рассказам, когда он увидел Ивана Великого, большой колокол и царь-пушку. С двенадцати часов до вечера смотрел на них Федор Петрович и дивился. В дополнение рассказов своих извозчик прибавил, что и часовой подле пушки стоит для того, чтоб из нее никто не стрелял.

Между тем как Федор Петрович рассматривал редкости Москвы, Василиса Савишна снова приехала к нему в обеденное время, – Федора Петровича нет как нет. Долго ждала она его с беспокойством, но не вытерпела: любопытство, как и что происходило, повлекло ее к Софье Васильевне. Софья Васильевна рассказала ей, как Саломея помешала переговору с Федором Петровичем, и велела просить его на следующий день на вечер.

– Сегодня мы в опере. Медлить нечего, я вижу, что он вне себя от Кати, и сама вложу ему в уста, что говорить; потому что он неловок и долго не соберется с духом высказать свое предложение.

– И лучше, – сказала Василиса Савишна, – он – простая душа, с ним нечего церемониться.

От Софьи Петровны Василиса Савишна заехала кой-куда, также по важным делишкам; а часу в восьмом вечера думала наверно застать Федора Петровича дома. Но Федор Петро-

вич скакал уже на званый вечер.

Саломея Петровна, сказавшись не так здоровой и отправив родителей и сестру в театр, отдала приказ по передней, что если кто-нибудь приедет, не отказывать.

Федор Петрович не долго заставил себя ждать. По обычаю, в передней возгласили: «Пожалуйте!» Когда он вошел, Саломея Петровна громогласно пела какой-то чувствительный романс.

– Ах, это вы? – сказала она, оставляя рояль. – Рара и папа скоро возвратятся, покорно прошу! Как вы провели время со вчерашнего дня?

– Очень приятно-с, смотрел редкости московские.

– И, вероятно, нашли много достопримечательного.

– Удивительные вещи: пушка особенно!

– Ах, вам понравилась большая пушка! – сказала Саломея улыбаясь, – да ведь она не годится ни на какое употребление.

– Как-с, ведь из нее, говорят, стреляют.

– Нет! где ж столько взять пороху.

– Пороху-с? что ж такое: почему же... порох – ничего-с.

– Впрочем, не знаю, вам это лучше известно... Были вы в театре?

– Нет-с, не был, все как-то еще не пришлось быть.

– О, так вам еще многое предстоит осмотреть в Москве: театр, благородное собрание... Здесь часто бывают концерты, маскарады; время проходит очень приятно; вы увидите, какой рай Москва, и не расстанетесь с ее удовольствия-

ми. Летом на дачу, беганье, игры... Ах, какая у нас деревня! и невдалеке от Москвы...

Саломея Петровна насчитала столько удовольствий, предстоящих Федору Петровичу, что у него проявилась жажда скорее ими воспользоваться; она выпросила у него все его вкусы, все, что ему нравится, и привела его в совершенный восторг восклицаниями: ах, это и мой вкус! ах, и я ужасно как это люблю! ах, я совершенно согласна с вами!

– У вас живы еще родители?

– Нет-с, волею божиею скончались.

– Так вы совершенно располагаете собою? Вероятно, у вас много родных?

– Ни одного человека-с.

– Ах, боже мой, как вам должно быть скучно! – произнесла Саломея Петровна, изменив вдруг мажор голоса на минор, – не иметь никого, кто бы привязывал вас к жизни! Что может заменить сладость семейной жизни: в ней только и живут удовольствия. Верно, этот недостаток очень чувствителен для вас?

– Очень-с, очень-с! – сказал Федор Петрович, проникнутый до глубины сердца этим недостатком, которого он до сих пор и не чувствовал.

– Ах, я понимаю, как это должно быть для вас горько; своя семья – это такое счастье!.. Взаимная любовь! О, я не удивляюсь теперь, что вы еще не пользовались удовольствиями Москвы. Вы, верно, и посреди людей чувствуете свое одино-

чество, не правда ли?

– Совершенно так-с! – произнес растроганный Федор Петрович. Никто еще в жизни не говорил с ним так сладко и с таким участием. – Я несчастный человек-с! – прибавил он.

– Отчего ж вы несчастливы? Вы располагаете сами собою, жуть ваша судьба вполне от вас зависит. Девушка – совсем другое: девушка не может собою располагать.

– Отчего же, Саломея Петровна?

– Очень натурально; например, вы, как свободный человек, можете составить свое счастье по желанию, можете жениться на той, которую изберет ваше сердце; а не на той, которую стали бы вам навязывать на шею, – не правда ли?

– Совершенно так! могу сказать! Нет, уж мне не навяжут-с! – В мыслях Федора Петровича родилось подозрение, что ему хотят навязать Катеньку. – Нет-с, если уж жениться, так по выбору-с, – прибавил он.

– О, без сомнения, благородный человек так и думает. Представьте себе несчастье: навяжут какую-нибудь бессловесную дурочку, у которой нет ни сердца, ни души... Целый век прожить с таким существом! это ужасно!

Федору Петровичу опять представилась Катенька, стыдливая, скромная и молчаливая Катенька.

Он задумался, откашлянулся, проговорил:

– Совершенно так-с! – и опять замолчал.

Саломея Петровна поняла эту беспокойную задумчивость и в душе радовалась успеху своего замысла.

– Вы задумались; как бы я желала знать, о чем? – сказала она очень нежным голосом, но с улыбкою, которую понял по-своему Федор Петрович.

– Я-с... – начал Федор Петрович, но не мог продолжать, вынул из шляпы платок и отер лицо.

– Я люблю откровенность, – сказала простодушным голосом Саломея.

– Позвольте узнать, Саломея Петровна, правда ли, что вы никогда не выйдете замуж?

– Это кто вам сказал? – спросила с удивлением Саломея.

– Сказали-с...

– Я прошу вас сказать мне, кто и по какому случаю, – вы, верно, от меня не скроете, потому что вы благородный человек!

– Саломея Петровна, – отвечал робко Федор Петрович, – действительно, не могу скрыть от вас... потому что...

Федор Петрович остановился и не смел продолжать. Но Саломея Петровна поддержала его.

– Говорите, пожалуйста, прямо, – сказала она, – вы можете быть уверены, что все, что вы скажете, останется между нами.

Федор Петрович откашлянулся, снова отерся, как утомившийся до поту лица и принимающийся снова за тяжелую работу. Он придумывал, как бы красноречивее выразиться и вставить в свою речь судьбу.

– Потому что судьба-с, – начал он, – когда я увидел вас,

зависит от этого... я тотчас же... на мне сказали, что вам и слышать не угодно...

Саломея Петровна поняла.

– Вам это сказали? – вскричала она, – какая низость!

– Сказали и предложили вашу сестрицу...

– А, теперь я понимаю! Вас хотели женить на моей сестре и потому-то находили предлоги удалять меня из дому, когда вы приезжали к нам... как вам это нравится?

– Помилуйте-с, как можно, чтоб это нравилось; я желаю получить вашу руку, Саломея Петровна, а не сестрицы вашей... Что ж мне сестрица!.. Если смею надеяться...

– Что-с? – произнесла Саломея с взволнованным чувством самолюбия. Оказанное простодушное предпочтение приятно польстило ей. «Он не так глуп, как я себе воображала, – подумала она, – он богат, его можно образовать».

– Получить вашу руку! – едва проговорил Федор Петрович.

Саломею Петровну, казалось, смутило неожиданное предложение, но сердце ее прыгало от самодовольствия; в мыслях вертелось: «Да, да, я выйду за него... меня хотели провестить; но я скорее проведу вас!.. Да мне же и надоели эти четыре стены и эта вечная зависимость!.. еще, чего доброго, обнищаем... поедем на заточение в деревню!.. Нет, лучше быть за уродом... и мало ли мужей дураков: скольких я ни знаю, все дураки... а он очень сносен; не светский человек – что за беда! я его образую! Да! и пусть все думают, что я вы-



шла по страстной любви! не иначе! Не умели ценить меня, – пусть жалеют!...»

Федор Петрович ждал с трепетом ответа.

– Вы мне сделали честь, – сказала она, – я от нее не отказываюсь: вы мне нравитесь...

– Саломея Петровна! – вскричал было Федор Петрович.

– Ах, тише!.. Я вас прошу не говорить об моем согласии маменьке: это все расстроит. Вы когда опять будете к нам?

– Завтра же, если позволите.

– Вам назначали время?

– Нет, не назначили.

– Так сделайте так, как я вам скажу. Когда вас позовут на вечер, может быть и завтра, потому что, верно, торопятся навязать вам на шею мою сестрицу. Вы приедете... Да... нет, это не годится. Я знаю, что меня за вас по доброй воле не выдадут...

– Отчего же, Саломея Петровна?

– Отчего? оттого, что от меня требуют, чтоб я вышла за другого, а я лучше убегу из дому... я не могу против желания выйти замуж!..

Саломее Петровне непременно хотелось по крайней мере кончить девическое поприще романическим образом. Если б она была Елена и явился вторично Парис<sup>22</sup>, готовый ее по-

---

<sup>22</sup> По древнегреческому сказанию, причиной войны греков с троянцами было похищение жены греческого царя Менелая, красавицы Елены, Парисом, сыном Троянского царя Приама.

хитить, она бежала бы с ним только для того, чтоб снова возгорелась Троянская война и она имела бы право сказать: «Я причина этой войны».

— Да! мне только остается бежать из дому с тем, кого люблю! другого средства нет! — прибавила она голосом томного отчаяния.

Федор Петрович был хоть и не из числа героев, но он слышал, что страстным любовникам почти всегда случается увозить своих милых.

— Что ж, Саломея Петровна, я вас увезу, если позволите, — сказал он расхрабрысь.

— О, я на все согласна! Но куда мы бежим?

— Куда угодно-с.

Саломею Петровну, казалось, затруднил этот вопрос, и она вдумчиво спросила:

— Ваше имение далеко отсюда?

— Близёхонько, верст сто с небольшим; у меня там и дом, и все есть, и церковь, и все-с... Сделайте одолжение, Саломея Петровна... — сказал Федор Петрович, кланяясь.

— Я решилась... но каким же образом?

— Уж это как прикажете, — отвечал Федор Петрович, не зная сам, каким образом увозят.

Это покорное предоставление права распоряжаться было в духе Саломеи Петровны. Она подумала и сказала:

— Медлить нельзя; завтра в шесть часов вечера я приеду в галицынскую галерею... экипажу своему велите остановить-

ся со стороны театра и ждите меня у входа. Только приезжайте в крытом экипаже, чтоб меня не узнали.

– Непременно-с, в шесть часов подле театра.

– Подле галицынской галереи<sup>23</sup>.

– Непременно-с! – повторил Федор Петрович и замолк, не зная, что ему дальше говорить.

– Теперь нам должно расстаться: я думаю, татап скоро возвратится, – сказала Саломея, вставая и подавая руку.

Федор Петрович не умел пользоваться правами героев романа и не смел выйти из границ форменного поцелования руки; поцеловал, шаркнул, поклонился и отправился.

Быть героем, хоть и не настоящим, а романическим, очень приятно. Федор Петрович, несмотря на неопытность свою по части приключений любовных, чувствовал однако же наслаждение и какую-то торопливую деятельность во всех членах. В продолжение всей ночи перед ним развивался сказочный мир и похищение царевен.

Рано поутру озаботился он о найме кареты в четыре лошади рядом и приказал денщику укладываться.

– Вчера три раза прибегала, вот эта, как ее... Василиса Савишна. По часу сидела, ждала вас, хотела сегодня поутру опять прийти.

– Не пускай ее, скажи, что дома нет.

– Да она ворвется, сударь, в комнату. Скажет, что подо-

---

<sup>23</sup> Имеется в виду голицынский музей в старой Москве с библиотекой и картинной галереей.

жду!

– Ну, не пускай, да и только! вот тебе раз!

– Уж если вы приказали, так не пущу!.. Чу, вот прилетела, стучит.

Федор Петрович молча присел в угол, а Иван подошел к двери и спросил:

– Кто там?

Ответа нет, а в дверь кто-то постукивает.

– Что за черт, кто там? – спросил Иван, приотворив, дверь.

– Я, Иванушка, – проговорила Василиса Савишна и сунулась в дверь.

– Позвольте-с, дома нет.

– Как дома нет?

– Изволил уехать.

– С кем же ты тут разговаривал?

– С кем разговаривал, я ни с кем не разговаривал.

– Вот прекрасно, я ведь слышала.

– Что ж что слышала? Я бранился на деревянную ногу, что из сапога вон не лезет; вот и все!

– Так я подожду.

– Нет, уж извините, мне надо идти, я запроу.

– Ну, хорошо, я после приду; позволь мне только поправиться перед зеркалом.

– Нет-с, позвольте.

Иван торопливо припер двери из передней в комнату. Ва-

сила Савишна удивилась, но ей никак не пришло на мысль, что ее выживают.

– Ну, ну, не буду мешать. Верно, гости! – прибавила она шепотом, усмехаясь. – Я приду часа через два.

Она ушла.

– Что?

– Опять хотела прийти.

– Черт какой неотвязчивый! Давай одеваться; я поеду на почту. Как придет эта баба, так скажи ей, что в шесть часов я буду ждать ее.

Федор Петрович отправился. Василисе Савишне переданы были его слова. Она прибежала в третий раз; но и след Федора Петровича уже простыл. В пять часов сел он в дорожную карету и приказал ехать в галицынскую. Его привезли в галицынскую больницу.

– Это театр? – спросил он, выходя из кареты.

– Какой театр, сударь; это галицынская больница.

– Да где ж театр? ведь подле театра галицынская, как вишь ее...

– Так это галерея, сударь, так бы и сказали; эх, барин, сколько мы крюку сделали!

Это однако же не помешало Федору Петровичу приехать вовремя на назначенное место, потому что героиня романа любила во всяком случае заставить себя ждать. Как удивился Иван, когда великолепно разодетая дама, в роскошном манто, в шляпке с пером, вышла из галереи, подала руку Федору

Петровичу, села с ним в карету и поехала.

Между тем Василиса Савишна прибежала в шесть часов вечера в гостиницу, стукнула в дверь номера, занимаемого Федором Петровичем, – никто не отзывается. Приложила ухо к двери, посмотрела в замочную скважину, – никого нет!

– Опять нет! что за чудеса! Поскакала к Софье Васильевне.

– Не у вас? – Нет еще.

– Что за диво такое, все дома нет да дома нет! сейчас была, сам велел сказать мне, что будет ожидать меня в шесть часов.

– Что это? моя карета едет! – сказала Софья Васильевна. – Саломея воротилась домой! Опять помеха! И лучше, если он не будет сегодня.

Вошел слуга.

– Что ты? А где же Саломея Петровна?

– В галицынской галерее; приказали ехать домой и сказать, чтоб ее не дожидали-с.

– Как не дожидали? с кем же она поехала?

– Не могу знать-с! как приехали к галицынской галерее, они изволили выйти из кареты, а мне велели ехать домой да изволили сказать: «Скажи маменьке, чтоб меня не дожидала».

– С кем же она поехала?

– Не могу знать-с.

– Не дожидала! Куда не дожидала? ты, верно, переврал.

– Никак нет-с; как приказано сказать, так я и докладываю.

– Не может быть! верно, кто-нибудь там был из знакомых.

Часов до двух за полночь беспокоило Софью Петровну только недоумение: с кем поехала Саломея? Пробило два, пробило три, началась суматоха. Саломеи нет, а не знают, куда послать за Саломеей. Призывают опять лакея, переспрашивают, бранят, что он, вероятно, переврал и что, верно, Саломея Петровна велела куда-нибудь приезжать за собой. Он божится, что нет. Призвали кучера, не слыхал ли он, что приказывала Саломея Петровна? Он подтвердил слова Игната, а больше ничего не слыхал.

– Она, верно, принуждена была где-нибудь остаться ночевать! Теперь уж и посылать поздно, да и куда посылать!..

Чем свет карета отправилась по всем родным и знакомым и возвратилась домой с известием, что Саломеи Петровны нигде нет.

Софья Васильевна в отчаянии и в слезах, а Петр Григорьевич ходит по комнатам, ломает себе руки и гремит на весь дом:

– Прекрасно! прекрасно! достойная дочь заботливой, разумной матушки! Осрамили, зарезали, убили! Это ни на что не похоже, это ужас! это поношение: Туруцкой звал на вечер, я дал слово... на Туруцкого все мои надежды... О, да я знаю, что это вы с намерением, чтоб... это черт! она не скажет просто: «я бы не желала»; она выкинет назло какую-нибудь штуку... насмеется над отцом, поставит его в дураки! Эй! кто там? скотина, что ты нейдешь, когда тебя зовут! По-

шел к Платону Васильевичу Туруцкому, кланяясь и скажи, что Саломея Петровна заболела и что мы не можем быть у него на вечере... Ну, что ж ты стоишь?... Постой! скажи, что я очень-очень сожалею... слышишь?...

Отправив человека к Туруцкому, Петр Григорьевич снова начал ходить по комнатам и греметь.

А между тем Василиса Савишна и не подозревает, что у Софьи Васильевны пропала дочь. Ранехонько она торопится в гостиницу Печкина, проведать о Федоре Петровиче, опять постукивает в дверь, прикладывает ухо и смотрит в скважину, – никого нет.

– Кого тебе, матушка? – спрашивает ее прислужник, проходя по коридору.

– Да вот мне нужно видеть господина, который здесь стоит.

– Это пустой номер, здесь никто не стоит.

– Как пустой? Неправда, здесь стоит военный.

– Вчера уехал.

Василису Савишну как водой обдало. Она всплеснула руками.

– Уехал? ну!

– А что?

– Гусёк!

– А что?

– Что уж и говорить! надул!

– Чем надул?



– Ну, да уж... тъфу!

И Василиса Савишна побежала вон из коридора; но к Софье Васильевне побоялась идти проведать о Федоре Петровиче.

# Часть вторая

## I

Рассказав, по принадлежности, кто такая Саломея Петровна, мы оставим ее в покое до первой встречи. Обратимся к Дмитрицкому, который, как вам уже известно, проиграл сполна собственные деньги и часть прихватил деньги ремонтные. Не для чего было говорить ему, что это сделано не только неосновательно, но даже безрассудно: все знал он это сам и бранил себя, как собаку. После *нагоняя* самому себе, он стал обдумывать, как поправить дело, и ничего лучше не выдумал, кроме новейшей гомеопатической пословицы: *Similia similibus curantur*<sup>24</sup> – или древнейшей русской пословицы: *чем обжегся, тем и лечись*.

– Но здесь, в поганом Бердичеве, не буду лечиться: поеду поправлять здоровье посреди сельской жизни. И вот, в прекрасных долинах Подолии, под именем ремонтера разъезжает он от помещика к помещику, играет для «препровождения времени». Но во всяком случае он был не более как Sch?ller<sup>25</sup> в сравнении с Schulmeister-ом<sup>26</sup> Желынским. Желын-

---

<sup>24</sup> *Similia similibus curantur* (лат. – подобное лечится подобным) – формула гомеопатической медицины.

<sup>25</sup> Ученик (нем).

ский, проведая, что он в его заветных полях красного зверя ловит, тотчас же разместил засады, и с бедного, с живого Дмитрицкого сняли кожу.

Между тем время проходит; в полку о Дмитрицком нет и известий. Полковой командир менее заботится о нем и о деньгах, нежели о команде, и отправляет другого офицера отыскивать Дмитрицкого и принять команду и ремонт. Офицер, недолго думая, едет в Бердичев. Там находит он команду, которая преспокойно живет по квартирам в ожидании своего командира; в числе команды и денщик Дмитрицкого.

– Где Василий Павлович?

– А бог его знает; он меня оставил у одного помещика, я там жил-жил, ждал-ждал барина, покуда выгнали; помещик сказал: «Ступай, брат, барин твой, верно, умер; я держать тебя не хочу», Я и пришел сюда.

– А что, в самом деле не умер ли он?

– Верно, что умер; помещик недаром говорил.

Офицер доносит в полк, что команда состоит благополучно налицо, а сам ремонтер пропал без вести и, вероятно, умер.

Дмитрицкого означили в списках умершим.

Таким образом кончил Дмитрицкий жизнь служебную.

Между тем новый ремонтер, приехав к одному помещику для покупки лошадей, входит в гостиную и видит – ни дать ни взять Дмитрицкий, в венгерке, в гусарской жилетке, си-

дит за картами.

– Дмитрицкий? – вскрикивает он, всмотревшись в него.

– Ах, любезный друг! – вскричал и Дмитрицкий, вскочив из-за стола и обнимая товарища своего. – Вот неожиданно встретились!

– Что ты здесь делаешь?

– Тс! скажи, пожалуйста! вот встреча! Как давно не видались!

И он потащил его за руку в другую комнату.

– Что ты здесь делаешь? где ты пропадал?

– И не думал пропадать, братец; а видишь, *по маленькой*, отыгрываюсь.

– Да знаешь ли что, ведь ты исключен из списков и показан в числе умерших?

– И очень хорошо сделали. Я действительно убитый человек; а потому и не могу уж явиться в полк.

– Ах, чудак! Да что ж ты будешь делать!

– Что ж, братец, мертвому делать, кроме как скитаться тенью.

– Ах, чудак!

– Только, братец, не говори никому, что и тень мою видел, а то, пожалуй, кол в спину вколотят.

– Где ж ты живешь?

– Теперь здесь гощу.

– Не советую тебе, однако ж, проживать в этих местах; если тебя узнают – беда!

– И не напоминай, сам уеду; черт знает, здесь нет мне счастья. Поеду искать невест, попробую жениться.

– Ах, чудак! да как же ты будешь жить без всякого вида?

– Вот тебе раз! попробуй кто от меня требовать вид, поставлю ему на вид вот что!

Дмитрицкий показал свой кулак.

– С этим видом не далеко уедешь.

– Не далеко уеду, так далеко уйду. Однако ж меня ждут; шпини, брат, я к тебе приду на квартиру.

– Нет, спасибо, отложи попечение: со мной команда.

– Да, да, да! ну, хорошо! Так до свидания на том свете.

– Прощай, брат!

– Присядь, хоть по маленькой.

– Нет, спасибо.

– Ну, хоть карточку, на мое счастье.

– Нет, благодарствуй.

– Экой чудак!

После известия, сообщенного новым ремонтером, Дмитрицкий понемногу стал подвигаться с юга на север. Он был некогда в Москве, и Москва ему нравилась; выезжая из нее, он думал: когда-то бог приведет опять побывать. Эта старая мысль пришла ему в голову, когда он задумался, куда ему ехать.

«Э! да вот прекрасный случай ехать в Москву! Там же всегда тьма невест. Именно! там открою свой новый карьер... Скверная вещь без денег! Я уверен, что без денег я могу за-

влечься во все страсти. А с деньгами я совершенно смиренное существо: засел где-нибудь в уголок, бросил пук ассигнаций или горсть золота на стол. «Господа! банчику!» Смотришь, тянутся со всех сторон искатели земного блага, обступают фараона, как рыбы, и ждут подачки. Иному дашь *ты за* – счастлив! иного оборвешь – молчит! Судьба! Добродетельный муж и отец семейства не с намерением пролил чашу довольствия своего. Он только хотел дополнить ее последним глотком бедняка, да черт подтолкнул под руку, чаша вверх дном, а наш брат подставил горсть и богат. Но для того, чтоб иметь право стоять там, где черт подталкивает под руку, надо иметь случай при нем. А кто ж может доставить этот случай как не жена, входящая в дела своего мужа и способствующая его успехам в свете? Что за роскошь иметь такую заботливую, умную помощницу!.. «Душа моя! заинтересуй, пожалуйста, мосье такого-то, чтоб ему у нас не было скучно. Умная жена тотчас поймет пользы мужа. О, она должна быть непременно привлекательна в отношении интересных людей. Одного только боюсь, чтоб не попасть на такую, которая вздумает тебя вывести в чины, или на такую, которая только ночует дома; или на такую, которая припиливает мужа к хвосту... Да еще боюсь, чтоб не влюбиться в аплике, в дрянное сердчишко, которое разрядится в любезность, в сладость, в нежность, подобьет все свои недостатки пуховой прелестью, раздушится благовонными вздохами, украсится алмазными взорами, разрисуется узорными прие-

мами...»

Рассуждая таким образом, Дмитрицкий ехал в Москву на огромном чемодане, набитом сеном. Хотя у него и осталось только одно носильное платье: венгерка да шинель, но он знал, что ездить без чемодана — нельзя: почтут за нищего.

По приезде в Калугу в кошельке у него остался один только червонец и ключ от чемодана. «Этого *скакуна* я ни за что в свете не отдам: это у меня заводчик. Лошадей найму вплоть до Москвы; а что касается до насущного пропитания: есть что есть, так есть, а нет, так мы не взыщем; впрочем, глупость! возможно ли умереть с голоду там, где люди завтракают, обедают, полдничают, ужинают и, словом, целый день едят?»

Следуя этому правилу, Дмитрицкий не голодал. В первой же деревне, где его извозчик остановился кормить лошадей, он застал хозяина, хозяйку и всю семью за столом: они хлебали из огромной чаши жирные щи.

— Что это? квасок? дай-ко, брат, ковшичек... ух как славно щами пахнет!

— Да не угодно ли, сударь, покушать? — сказала хозяйка, — у нас щи, жаркое есть, если угодно, рыба есть.

— Нет, благодарствуй, милая, боюсь обед испортить... я только попробую... Славные щи!

— Да что ж, пообедайте у нас, сударь.

— Нет, милая, меня ждут обедать, отсюда недалеко. Таким образом наш путешественник везде пробовал то щи, то ка-

шу; но на половине дороги ему захотелось хорошо пообедать. Проезжая в обеденное время чрез одно село, он спросил:

– А что, здесь живет сам помещик или управляющий?.

– Сам помещик.

– А есть у него продажные лошади?

– Как же, большой завод есть.

– Прекрасно! Проводите-ко меня к нему. Барин-заводчик рад покупщику.

Нечего рассказывать, как явился Дмитрицкий к помещику, к Григорью Тимофеевичу Мискину, покупщиком и знатоком в лошадях; как, осматривая завод, проморил плотного барина, и тот пригласил его откусать вместе, потому что уже было время, а после обеда предложил испытать лошадей в упряжке. Все проделки были исполнены как нельзя лучше, лошади в упряжке ходили очень хорошо, помещик назначил им цену прекрасную и расстался с Дмитрицким, как с таким покупщиком, каких ему надо было и по самолюбию и по расчетам.

Пообедав очень хорошо и даже выпив за здоровье гнедых, Дмитрицкий решился не обедать до самой Москвы, если только не представится какого-нибудь особенного случая. Но особенного случая не представилось.

Я думаю, памятно вам, как счастливо он миновал заставу.

– Покуда прямо, – отвечал он, а между тем думал: «Куда ж теперь ехать? приехав в Москву, разумеется, теперь следу-



ет, ехать в «Европу»; во всех лучших городах должна быть «Европа»: без «Европы» нельзя обойтись, особенно приедем человеку». – Эй! послушай, любезный, где тут «Европа»?... Спасибо! ступай!

Приехали в «Европу». Дмитрицкий повелительно крикнул у крыльца на швейцара и лакеев, чтоб помогли вылезти ему из повозки.

– Первый номер готов для меня? а?

– Первый номер занят-с.

– Как?... Фу! бока разбило! Животное! заставил меня прокатиться в телеге! Пять тысяч заплатить за экипаж и сесть на половине дороги!.. Как занят?

– Занят-с.

– Как занят! Ах, дурак! что ж это он здесь делал? он, верно, занял в другой гостинице.

– Третий номер свободен-с, прекрасный номер! три комнаты-с, мебель красного дерева, фортепьяны, все есть-с, все принадлежности, как следует, сейчас только очистился.

– Три комнаты! какие-нибудь скверные! Экое животное! Ну, vedi!.. Что за гадкие коридоры! тьма кромешная! Это ни на что не похоже! то ли дело в Париже.

– В Париже-с? Помилуйте, что Париж! Уж лучше нашей гостиницы в целом городе нет.

– Я ничего не вижу!

– Пожалуйте, пожалуйста сюда.

– Ну, что тут такое?... Это-то? Фу! да покури, братец, ско-

рее! Кто тут стоял?

– Только что сегодня изволил уехать один сочинитель из Петербурга.

– Сочинитель? Именно какими-то сочинениями пахнет! Покури, да не какой-нибудь смолкой, а по крайней мере лавандом... Да чаю, чаю скорей!.. Один из вас, порасторопнее, чтоб здесь дежурил, покуда мои люди приедут! Да есть ли тут сарай хороший, поставить коляску, а?

– Как же-с, сколько угодно.

– Ну, чаю!

– В повозке есть вещи-с?

– Какие вещи? вещи в экипаже. Да! кажется чемодан положили со мной. Внести его! Адрес-календарь есть?

– Есть-с.

– Принеси! тебя как зовут?

– Иваном-с.

– А тебя?

– Алексеем.

– Так ты, Иван, ступай за календарем, а ты за чаем, да живо! Лентяям ничего, кроме *простого туза*, не даю; а кто услужит мне тому *червонный*, слышите?

– Будем довольны-с! Кому ж и угождать, как не доброму барину.

– То-то же!.. А! Чемодан; хорошо! Поставь его, да осторожнее, не перемни у меня там. Тебя как зовут?

– Петром-с.

– Петр, спроси бутылку лучшей мадеры! скорей!

Петр бросился за мадерой; а между тем Дмитрицкий раскинулся на диване и стал зевать, как изнеженный помещик, с дороги. Приказания его живо были исполнены. Алексей принес, с вывертами, на подносе аплике, чайник, сливочник и чашки – пестрый фарфор *рококо* с позолотой, в корзинке сухари, на блюдечке сахар. Иван прибежал с адрес-календарем, а Петр с бутылкой мадеры.

– Первый номер мадера?

– Самая старая-с.

Дмитрицкий налил стакан, выпил залпом и потом плюнул.

– Дрянь!

– Самая лучшая-с!

– Самая лучшая! почем бутылка?

– Пять рублей-с.

– Ну, может ли быть здесь настоящая мадера в пять рублей, когда она и на острове Мадере дороже пяти рублей. Скажи хозяину, что я мадеру пью настоящую и чтоб он достал мне самой лучшей, хоть по червонцу бутылку. Слышишь? Возьмите эту себе. Теперь ступайте все вон, я отдохнуть хочу.

– Позвольте узнать чин и фамилию, да подорожную надо записать в книгу-с.

– Успеешь! приедет мой камердинер с экипажем, так спросишь у него; ну, марш!

– Черт знает, я без чаю похудел в эти три дня, – сказал

Дмитрицкий, принявшись пить чай. – Надо отыскать какого-нибудь знакомого... Черт знает, сколько в календаре фамилий! Ну, как тут не найти знакомых или дураков, которые рады будут моему знакомству?...

В это время послышалось, кто-то вошел в переднюю комнату.

– Кто там?

– Извините, – сказал вошедший молодой человек, очень щегольски одетый, в очках, с улыбающимися устами, с сладостными и изгибистыми манерами, с ногами, имевшими привычку шаркать, с ушами, похожими на крылья у шапки Меркурия.<sup>27</sup>

– Извините...

И так далее... а дальнейшее мы изложим впоследствии; покуда означенный молодой человек не познакомился с Дмитрицким, мы познакомим вас с ним самим.

## II

Его зовут Михайло Памфилович Лычков. Молодой человек, как бы вам описать его?... Молодой человек, если хотите, очень с хорошими свойствами. Молодой человек, который делает около ста визитов по годовым праздникам, которого встретите в обществе и в театре, где отвечают на по-

---

<sup>27</sup> Меркурий в римской мифологии посланник богов, его изображали обычно с крылышками на ногах, иногда в шапочке с крыльями.

клон его замечательные поди, иногда протягивают руки и говорят: «*bonjour, monsieur Лычков!*»<sup>28</sup>, которого встретите в канцелярии, где он сам подойдет к вам и скажет, что он по особенным поручениям при его превосходительстве; которого встретите в каком-нибудь комитете о тюрьмах и в каком-нибудь благотворительном или ином обществе... которого встретите верхом, и он предупредит похвалу своей лошади и скажет, что она орловского завода, но что у него есть лошадь собственного завода, гораздо лучше этой... Молодой человек, которому вы, верно, понравитесь, если послушаете его рассказы и который, верно вас позовет к себе.

Михайло Памфилович вступил в службу в канцелярские служители по протекции самого начальника канцелярии, которому он понравился по какой-то особенной, природной *готовности служить*. И действительно, Михайло Памфилович служил ему чем только мог и, между прочим, приезжал в канцелярию на положении дела не делающих, а от дела не бегающих, которых начальник канцелярии встречал, протягивая руку, принимал как гостей и увлекался от своих скучных занятий приятной их беседой.

Так как настоящий век изобилует обладающими даром поэзии или, все равно, обладающими даром поэзией, и так как в канцелярских, кроме размашистых перьев, необходимы иногда перья красноречивые, то в числе сослуживцев Михаила Памфиловича, кроме молодых людей высокого по-

---

<sup>28</sup> Здравствуйте, господин Лычков (*франц.*).

лету, было много неочцененных еще поэтов и прозаиков. Из салонов спускаться в канцелярию было низко, а от истоков Ипокрены<sup>29</sup> ходить в канцелярию было далеко и утомительно; и потому все эти прихожане ужасно зевали и рады были какому-нибудь развлечению. Одни читали наизусть свои поэтические вдохновения, другие с восторгом выслушивали декламации стихов о каком-нибудь Демоне или о какой-нибудь Демонессе, у которой, вместо волос, спускается на плечи лава; вместо взоров – стрелы или метательные копья, на ланитах пламень, на устах огонь, на груди дым, а в груди – что-то неизъяснимое.

Михайло Памфилович ахал больше всех, и потому признан был за человека со вкусом. По этому вкусу он был приятелем поэтов, а по изрядному состоянию, по возможности ездить на конях, быть одетым с иголки и природной способности перенимать светские манеры был приятелем с некоторыми из верхолетов. Вследствие моды на литературные вечера между означенной рассадой светской деятельности завелись также литературные вечера. После нескольких опытов распределить дни Михайлу Памфиловичу достался вторник, и все сослуживцы в один голос решили: «Завтра все к тебе, Лычков!»

Чтоб придать тону своему вторнику и сделать его известным целой Москве, Михайло Памфилович обдумал, что для

---

<sup>29</sup> В древнегреческой мифологии Ипокрена – чудесный источник на горе Геликон, дающий вдохновение поэтам.

этого надо залучить к себе и известных московских литераторов. На первый вторник, в который так неожиданно должен был совершиться литературный вечер у Михайлы Памфиловича, нельзя было никак распорядиться насчет известных литераторов; но все-таки он решился сделать визиты всем, с которыми кланялся в обществе. Но прежде всего надо было предупредить папеньку и маменьку, которые были в восторге от успехов сына в свете и потворствовали ему елико возможно.

Папенька Михайлы Памфиловича, Памфил Федосеевич, был, казалось, человек простой и добряк, по крайней мере на старости лет; но несмотря на простоту, он умел, со вступления на поприще житейское, сколотив изрядный капитал, купить имение и величаться помещиком. Так как это достоинство досталось ему довольно уже поздно, то он и не успел войти в круг знакомства, соответственный властителю двухсот душ и обладателю капитала, дающего около десяти тысяч процентов. Большой круг требовал новых привычек; а расставаться с старыми, с которыми сжились душа и тело, было и жалко и трудно. Чувствуя невозможность самому почваниться в свете и показать, что мы, дескать, сами с усами и не последние из личных дворян, Памфил Федосеевич сосредоточил свое честолюбие на успехах в свете единственного и возлюбленного сына, Мишеньки. Мишенька не изменил надеждам отца.

Пожилая супруга Памфила Федосеевича, Степанида

Ильинишна, несмотря на толстоту свою, так и лезла в гору и, без сомнения, взобралась бы на нее и завела знакомства и с графинями и с княгинями, потому что она сочувствовала своему достоинству и всегда говорила: «Эка невидаль, графство!» Но, к несчастью, она не знала *по-французскому*, а без этого, *черт знает чего*, невозможно было показаться в русской гостиной, как с непричесанной головой. Не являясь в свете, Степанида Ильинишна сосредоточила свое высокое достоинство в своем доме да в кругу старых знакомых – губернских и коллежских регистраторш и секретарш, с которыми издавна она покумилась и без секретов которых, гаданий и сплетней, не могла уже обходиться. Сверх того и привычная, бессменная партия бостончика или вистика сроднилась с ними. Но, как боярыне, ей нельзя уже было не нежиться, не чувствовать боли в какой-нибудь части тела и не лечиться *лопатией*<sup>30</sup> или *гаменпатией*<sup>31</sup>. И то и другое не приносило ей пользы, особенно после заговенья или розговенья. Отлежав однажды бок, она почувствовала онемение. Призванный медик вообразил, что это следствие полноты и излишества крови и немедленно же предписал, кроме следующих микстур, приставить к боку, на первый раз, не менее пятидесяти пиявок; пиявки исполнили свое дело как следует: выпили кровь да еще про запас притянули к боку достаточное ее количество. С тех пор обиженный бок стал беспо-

---

<sup>30</sup> Искажённое – аллопатия.

<sup>31</sup> Искажённое – гомеопатия.



коить Степаниду Ильинишну. Она почла за долг проклинать лопатию и призвать в помощь гамепатию; но бесконечно малые приемы не нашли дороги из желудка к боку и воротились на белый свет без пользы. Прослышав про чудеса магнитизирования, Степанида Ильинишна расспросила, каким это образом лечатся новым способом? Кумушка Арина Ивановна тотчас же объяснила ей, что, дескать, есть два способа: первый способ самому магнитизироваться: доктор начнет водить руками по всему телу, покуда сон наведет...

– Нет, нет, нет, матушка, этого-то я с собой не позволю делать! Скажи, какой другой?

– А другой способ: доктор возьмет да намагнитизирует какую-нибудь девушку, да и спросит у сонной, какое лекарство он должен дать больной. Всю подноготную скажет! Удивительное дело! Что-то уж и не верится!

– Верится или не верится, отчего же не попробовать! Я попробую: велю намагнитизировать Дуньку да расспросить у ней, какое, дескать, для барыни лекарство нужно? Глупа только, где ей сказать! Ну, да не велика беда попробовать.

– Уж кстати бы и я полечилась, Степанида Ильинишна.

– Пожалуй, матушка, убытку мне от этого не будет.

– Так пришлите мне сказать, как будут магнитизировать.

– Изволь, пришло.

Степанида Ильинишна в самом деле послала Сидора искать по Москве иностранного доктора, что магнитизирует. Сидор тотчас же отыскал иностранного доктора, что мозоли

сводит.

– Здравствуйте, батюшка, – сказала Степанида Ильинишна. – Эй, Дунька... Вот, намагнитизируйте, пожалуйста, девочку да расспросите у ней, чем лечить от бока? у меня бок болит... Вот она.

Дунька явилась, стала в дверях и смотрела исподлобья на мозольного мастера, не понимая, зачем ее представляют ему.

– Вот она, сделайте одолжение; а я уж уйду, не могу смотреть... извините!

Степанида Ильинишна вышла, а мозольный мастер показал Дуньке стул, помог ей разуться. Дунька не смела противиться.

Кончив операцию, в ожидании вознаграждения он походил по комнате, кашлянул несколько раз. Степанида Ильинишна со страхом взглянула в двери.

– Что, уж кончено?

– Ага! – отвечал доктор по части мозолей.

– Что ж, какое же лекарство-то мне предпишете?

Он подал ей скляночку и сказал по-немецки, жидовским наречием, что она увидит на опыте, как хорошо это лекарство сгоняет мозоли.

– Как же, батюшка, принять это или намазывать? – спросила Степанида Ильинишна, подавая в вознаграждение десятирублевую ассигнацию.

Вместо ответа оператор поклонился и вышел.

– Что ж это он не сказал мне, что надо делать с этим? да

уж верно намазывать... это мазь. Дунька! расскажи мне, что он с тобой тут делал? Да, смотри, говори сущую правду.

– Да бог его знает, сударыня, посадил на стул, велел разуться, да чем-то помазал пальцы.

– Только? Что ж ты, заснула?

– Никак нет, сударыня.

– Коли не спала, так что ж он тебя спрашивал?

– А бог его знает! он ничего не спрашивал.

– Врешь, дура; сама не помнишь, верно спала.

– Ей-богу нет-с!

– Врешь, глупая; ведь он тебя магнитизировал. Дунька, не понимая, молчала.

– То-то, заставишь дуру что делать, сам не рад! Что ж, намазывать этим или принять?

– Да вот он этим, кажется, и мазал.

– Попробую; беды, чай, не будет, – сказала Степанида Ильинишна и Дуньке же велела растирать мазью бок.

Оказалось, что мазь лучше действовала от боли в боку, нежели от мозолей; у Дуньки разболелись ноги, так что она ступить не могла; а у Степаниды Ильинишны на другой же день боку стало гораздо лучше. Она решилась всегда лечиться магнитизированием и вспоминала об обещании, данном Арине Ивановне. Арина Ивановна страдала головной болью; и от головной боли мазь помогла, только волосы полезли страшным образом.

– Нет, уж, матушка, Степанида Ильинишна, покорно бла-

годарю за нее: лучше останусь с головными болями, чем быть плешивой.

– Напрасно, Арина Ивановна, в волосах-то, верно, и сидит гная боль. Есть чего жалеть! вырастут другие. Я вот полечилась, да пан теперь. И вперед случись что, тотчас же велю Дуньку магнитизировать.

Такова была маменька Михаила Памфиловича.

– Папа, у меня сегодня будет литературный вечер, – сказал однажды Михайло Памфилович, войдя, по старому обычаю, к отцу пожелать ему доброго утра.

– Это что такое значит, Миша? Что за литературный вечер? – спросил отец.

– Ведь я вам сказывал, папа, что я познакомился с литераторами.

– Так что ж такое?

– Я бываю у них на литературных вечерах, нельзя же и мне не *сделать* литературного вечера.

– В самом деле! Ну, я поговорю с матерью. Надо же посоветоваться.

– Помилуйте, как это можно откладывать; все условились быть у меня сегодня, и вообще по вторникам.

– Помилуй, всякой вторник у тебя будут литературные вечера!

– А как же иначе; уж это так водится; все приедут, мне не больным же сказаться.

– Да кого ты звал?

– Московских литераторов.

– Да кого именно?

Этот вопрос затруднил несколько Михаила Памфиловича.

– Как кого, папенька, мало ли литераторов; некоторые вместе со мной служат...

– Ну?

Михайло Памфилович высчитал имена всех известных и неизвестных литераторов; но если б не прикрасил сиятельными и чиновными, то славные имена не произвели бы никакого влияния на Памфила Федосеевича.

– Неужели? – сказал он, – и князь будет?

– Да, вероятно, будет... он...

– Да ты говоришь, еще главный сочинитель будет?

– Да, папа.

– Черт знает, Миша, ты, право, лжешь!

– Ей-богу, я у него был, он такой очаровательный человек... я с ним коротко познакомился.

– Хм! удивительно! Ведь он, брат; действительный статский советник.

– Что ж такое? мало ли поэтов в чинах; например, Глинка и Дмитриев<sup>32</sup> также действительные статские советники.

---

<sup>32</sup> Глинка Ф. Н. (1786–1880) автор многих произведений в прозе и стихах. Его «Письма русского офицера» (1808) долгое время пользовались популярностью; в 20-х годах масон, примыкавший к правому крылу декабристов; с 40-х годов творчество Глинки приобрело религиозно-мистический характер. Дмитриев И. И. (1760–1837) – поэт сентиментального направления карамзинской школы. Особой известностью пользовались его басни и сатиры.

– К тебе в гости? Ну, брат, Миша, высоко ты забираешь! Надо подумать! ведь все-таки они не к тебе, а ко мне в дом будут.

– Помилуйте, папа, когда тут думать? ввечеру они все приедут.

– Что ж ты не сказал прежде? ведь это ни на что не похоже: зовет гостей не спросившись?

– Когда же мне было сказать вам; вчера ввечеру все согласились быть сегодня у меня.

– Поди-ну!.. Надо подумать, как принять! я поговорю с матерью.

– Да ничего не нужно особенного; только надо попросить папан, чтоб вместо булок и сухарей к чаю, купить английской соломки... продается в кондитерских...

– Ну, это уж не мое дело.

– Да мне нужно, папа, пятьсот рублей.

– Помилуй, Миша! давно ли ты взял пятьсот рублей?

– Ведь я говорил вам, что я пожертвовал их на человеколюбивое заведение... Нельзя же мне было... ведь я член.

– Да! ну! черт знает, братец, накладно!.. На что ж тебе еще столько денег?

– Мне непременно надо купить библиотеку: мне стыдно будет перед литераторами, что у меня нет ни одной книги.

– Что, брат, говорил я тебе: береги, Миша, свои книги, – пригодятся.

– Да что ж мне в учебных книгах! Мне по крайней мере

необходимо иметь сочинения литераторов, которые у меня будут.

– Ты совсем обобрал меня!

– Что ж делать, папа.

– То-то, что делать!.. На!

– Удивительный мальчишка! – сказал Памфил Федосеевич про себя, смотря вслед сыну, который, оправив перед зеркалом полосы, платок на шее и булабочку на манишке, вышел вон. – Удивительный мальчишка!.. Скажи, пожалуйста, только что из яйца вылупился, а с какими людьми уж свел знакомство!..

– Степанида Ильинишна!.. Эй! кто тут!.. провалились! Варька! Иван!

– Что ты, батюшка, раскричался! опять нога, что ли?

– Какая нога! что за нога! совсем не нога, а Миша. Ей-богу, это удивительный мальчишка!

– Что он тебе сделал? что не по-твоему?

– Не по-моему; разумеется, что не по-моему!

– Так и надо кричать?

– Да кто кричит? помилуй!

– Да ты! посмотри, из себя вышел!

– Ах ты, господи, слова не даст сказать!

– Да говори, кто тебе мешает!

– Я хотел сказать тебе, что это удивительная вещь; представь себе! что еще он – мальчик, молоко на губах не обсохло... Куда ж ты?

– Да что мне слушать брань...

– Откуда брань? Кто тебе сказал, что брань? дай окончить-то!

– Ну?

– Я хотел сказать, что, что еще он? мальчик, а ведет знакомство с какими людьми!

– Ну, что ж? молод и знакомится с молодежью; а тебе не по сердцу?

– Ну, кто говорит что не по сердцу? ты не дашь выговорить! Какая молодежь!.. вельможи, матушка! вельможи к нему назвались на вечер!

– Полно, пожалуйста, вздор молоть! с какой стати назовутся к Мише вельможи?

– Я тебе говорю! из студентов-то он в сочинители хватил! Вот и назвалась вся братья сочинителей к нему на вечер; да какие люди-то – все известные!.. в каких чинах! А? каков Миша-то? а? Степанида Ильинишна!

– Что ж, слава богу, недаром мои заботы были об нем.

– Ты! все ты! а уж я ничего!

– Хорош бы он был хомяк, если б пошел в тебя! Не сам ли ты говорил ему: не водись с людьми, которые тебе не по плечу.

– Да! в старину это было так, а теперь – другое дело. В старину кошки мышей ели, а теперь не едят – вишь, подай молочка да говядинки.

– Это все на Ваську ты метишь!



— Э, поди ты с своим Васькой; не о том дело; надо подумать, как принять, ведь сегодня ввечеру все у нас будут.

— Как сегодня ввечеру?

— Да так! назвались, как хочешь и принимай!

— Ты шутишь, что ли?

— Какая шутка; нагрянут человек двадцать.

— Миша с ума сошел! назвал гостей; да еще все незнакомых; а у нас ничего не готово, комнаты не прибраны... Господи! когда ж я обернусь! Надо самой ехать заказать мороженое, купить провизии; нельзя без ужина или, по крайней мере, закуски... Ничего не успеешь сделать! Я думаю, все, что куплено к обеду, оставить к вечеру, а сами чего-нибудь перекусим.

— За винами надо послать; да уж я распоряжусь в этом... А! вот кстати!

Вошли Григорий Иванович и Лукьян Анисимович. Это были старые сослуживцы Памфила Федосеевича на службе по откупам.

Григорий Иванович был в старину кос и сохранил этот недостаток и в старости.

Лукьян Анисимович и в молодости и в лета мужества был рыж; но под старость лишился прекрасных волос своих, а клочки на висках поседели.

Григорий Иванович жил уже домиком, а Лукьян Анисимович не умел сберегать нажитого и потому продолжал службу по части *хождения по делам*.

– Вот кстати пришли! здравствуйте, Григорий Иванович; садись, брат, Лукьян Анисимович... Иван! наложи Лукьяну Анисимовичу трубку.

– Я сам наложу-с, Памфил Федосеевич.

– Ну, накладывай. А что, Григорий Иванович, ведь вы, кажется, продолжаете читать книги?

– Не засну, сударь, без чтения. Вчера, например, прочел очень занимательный журнал. Ах, как ругается! да еще кого ругает-то: Александра Петровича Сумарокова! такую экзекуцию задал, что ужас!

– Уж чтоб теперь был такой сочинитель, как Сумароков, да уж я не знаю! – сказал Лукьян Анисимович, закулив трубку и подсев важно к Памфилу Федосеевичу, с желанием принять участие в разговоре. – У меня, правда, только одна часть его сочинений: ну, да уж наслаждение! уж надо сказать! Чуть свободное время – я и читаю; тысячу раз перечитал, ей-богу-с. А уж чем больше читаешь, тем как-то все лучше. Что нынешние книги! мой Ваня таскает их на дом кучу. Вот журналы-то, журналы, что вы говорите, Григорий Иванович, да я в толк не возьму: писано как-то без расстановки, да всё слова какие-то особенные.

– Нет, Лукьян Анисимович, не говорите. Правда, есть слова, что вдруг и в толк не возьмешь, а как подумаешь хорошенько, так это то же слово, да по новому правописанию; примером, по-нашему был *Кишот*, а теперь пишут – *Кихот*: гораздо нежнее; в наши времена *Невтоном* называли одного

астронома, а теперь – *Ньютоном*, так-то и прочие все слова: примером, вот я вчера начитал: *Пафос*, что бы это значило? Думал, думал, наконец, догадался, что это тот же *Бахус*.<sup>33</sup>

– Да что ж нового-то в журналах?

– Как что?

– Намедни развертываю, дай, думаю, прочту что-нибудь новенькое. Ай да новость: Колумб открыл Америку!

– Не знаю, верно вам какой-нибудь старый журнал попался.

– Нет, не старый!

– Постой, Лукьян Анисимович! Ну, что ты споришь; знаешь ли ты хоть кого-нибудь из сочинителей?

– Где ж их знать, Памфил Федосеевич: сроду не видывал; да и где ж их видеть? Они в люди не показываются. Слава богу, кот уж двадцать лет в Москве живу, а нигде, просто нигде в маза не видал сочинителя.

– Ну, а я тебе покажу всех до единого! Хочешь?

– Не знаю; а любопытно было бы посмотреть.

– А, знаю, – сказал Григорий Иванович, – у Памфила Федосеевича, верно, ихняя книга с портретами.

– Нет, брат, живьем покажу!

– Да где же?

---

<sup>33</sup> Бахус – в древнеримской мифологии бог вина; Пафос в переводе с греческого означает сильно возбужденное, вдохновенное состояние человека. Белинский ввел это необычное для современной ему критики слово в литературный обиход. Заставляя Панфила Федосеевича так нелепо мудрить со словом пафос, Вельтман подсмеивается над терминологическим новаторством Белинского.

– Отгадай!

– А! говорят, что выдумали какие-то особенные вечера, где их собирают сочинять стихи.

– Литературные?

– Та-та-та, именно!

– Не знаю, – сказал Григорий Иванович, – а я не так слышал; я слышал, что на литературные вечера для того собирают сочинителей, чтоб издавать журналы.

– Уж в этом извините, Григорий Иванович: журналы издают не сочинители, а редакторы.

– Да! ну, об этом не спорю: ономедни, был я по делу у Степана Васильевича, вдруг приезжает к нему какой-то молодой человек, щеголь, платье сидит, точно как на нем самом утюжено. Степан Васильевич и спрашивает: «Ну, как вы провели время на литературном вечере?» – «Очень скучно, по обыкновению», – говорит. «Что ж делали там?» – «По обыкновению, ничего». Степан Васильевич захохотал; а потом стали говорить по-французски.

– Что-нибудь да не так, Григорий Иванович, – сказал Памфил Федосеевич, – а главное, хотите быть на литературном вечере?

– Если куда-нибудь ехать, так не знаю...

– Шагу не сделаешь с места, братец! – сказал торжественно Памфил Федосеевич, – всех без исключения здесь, у меня, увидишь!

– Не знаю, – сказал Лукьян Анисимович.

– Да, всех увидишь; назвались к сыну; ты знаешь ли, что и Миша сочинитель? Да какие люди-то будут!.. генералы! Ввечеру, вот здесь.

– Любопытно! вот что любопытно, так любопытно!

– А? каков у меня сынишко? с какими людьми ведет знакомство! Давно ли перестал учиться? Думал, вот надо хлопотать об определении на службу, просить добрых людей, кланяться... ан он сам себе добыл место; да еще какое! по особнным поручениям! и как пошел-то!.. Кажется, я говорил вам, что он на днях сделан действительным членом общества любителей садоводства?

– Как же, Памфил Федосеевич, знаю: я уж просил его, чтоб он для моего садика снабдил меня разными семенами.

– Э-гэ! вишь ты какой! Даст, братец, не бойся; я сам ему напомню.

– Уж как одолжите-то!

– На всех литературных вечерах бывает; не из последних: недаром все сочинители назвались к нему на вечер.

– Когда ж это?

– Сегодня.

– Ей-богу? Это... я вам скажу!

– А? Как ты думаешь, Григорий Иванович?

– Да, любопытно взглянуть на сочинителей; я хоть и много читал, почти все сочинения; но читать все не то. Я читал вот и Полевого<sup>34</sup>, Булгарина<sup>35</sup> читал, читал вот Кота бурмо-

---

<sup>34</sup> Полевой Н. А. (1796–1846) – журналист и беллетрист, издатель прогрессив-

секу<sup>36</sup>, как бишь его? Сейчас припомню... а вот не знаю, кто переводит Поль-де-Кока<sup>37</sup>... Это штука! Возьмешь книгу – не оставишь.

– Так если, господа, хотите видеть сочинителей – милости прошу, мы их вам покажем. Миша поехал уж покупать библиотеку.

– Библиотеку для чтения<sup>38</sup>?

– Э, нет, брат, нет, Григорий Иванович: ты возьмешь книгу, другой возьмет, третий – шкаф и пуст. А сыну нельзя без книг. А вот что я тебе скажу, уж извини; как соберутся, я тебя вперед и выставлю; ты заводи с ними разговор о книгах: ты в этом деле знаток, так и мне ловчее будет слово приставить.

– Нет, Памфил Федосеевич, как-то конфузно заводить разговор.

– Нет, сделай одолжение!

---

ного журнала «Московский телеграф» (1825–1834), закрытого по распоряжению министерства полиции.

<sup>35</sup> *Булгарин* Ф. В. (1789–1859) – редактор реакционной газеты «Северная пчела»; журналист и беллетрист, известен прямыми доносами в III Отделение на писателей прогрессивного лагеря. Имя его стало символом политической продажности, литературной полицейщины.

<sup>36</sup> «*Кот бурмесека*» – повесть Ушакова В. П. (1789–1838), беллетриста 30-х годов.

<sup>37</sup> *Поль де Кок* (1794–1871) – французский беллетрист, автор фривольных романов.

<sup>38</sup> «*Библиотека для чтения*» – журнал «словесности, наук, художеств, промышленности, новостей и мод», издававшийся с 1834 по 1865 год в Петербурге.

– Нет, право, конфузно; пожалуйста, не заставляйте!

– Нет, уж как хочешь!

– Не знаю, отставной ли мундир надеть, или просто в партикулярном фраке?

– Генералы, братец; я думаю, пристойнее в мундире; я сам надену мундир; с коронации не надевал, да нечего делать.

– Так прощайте покуда, Памфил Федосеевич: мне надо купить еще темляк, да и шляпенка очень стара...

– Ах ты, господи! – вскричал Памфил Федосеевич, – совсем из головы вышло!

– Что такое?

– Степанида Ильинишна уехала; а я и позабыл сказать ей, чтоб купила английской-то соломки!

– Для чего вам английская солома?

– К чаю, братец!

– Как, к чаю?

– Как, к чаю! ну, просто к чаю, вместо хлеба и сухарей.

Лукьян Анисимович пожал плечами и посмотрел на Григория Ивановича с выражением: не сошел ли Памфил Федосеевич с ума?

Григорий Иванович понял и покачал головою.

– Уж лучше с мякиной, чем с соломой, Памфил Федосеевич, – сказал Лукьян Анисимович, ставя трубку на окно и взявшись за шапку.

– И этого-то ты не понимаешь! Едал пирожное *кудри*?

– Это знаю.

– Ну, так царские кудри похожи на кудри; а это на солому.

– А! стало быть, это пирожное?

– Не пирожное, а просто из теста или из муки сделана солома, а ее едят с чаем.

– Что не выдумают; а все англичане. Я и чай с маслом чухонским однажды попробовал – очень недурно. Так прощайте, Памфил Федосеевич.

– Прощайте, Григорий Иванович.

– До свидания.

– До свидания, Лукьян Анисимович.

Между тем как Памфил Федосеевич занялся рассмотрением своего мундира, сынок его приехал в книжный магазин и потребовал сочинения *всех русских литераторов*.

– Вам, верно, составлять библиотеку? – спросил книгопродавец, человек с книжным смыслом, который понимал достоинства литературных произведений и, вероятно, знал, что и книги, как людей, по платью встречают, а по уму провожают; что рост и дородность есть достоинства более всего замечательные; что самая занимательная и *ходкая* книга есть или шут, или забавник, или враль, или любезник, который говорит очень мило пошлости; или рассказчик-сплетник, который выносит сор из избы и взводит на всё и на всех небывальщину; или выглядывающий колдуном, падшим ангелом, на которого находит стих, смущающий душу; или, наконец, какой-нибудь модник, который *весь не свой*.

– Вам, верно, составлять библиотеку?



– Именно.

– Так вот Ломоносова сочинения, Державина, Сумарокова.

– Э, нет, мне этих не нужно.

– Так какие же сочинения всех литераторов? Может быть, «Сто литераторов»<sup>39</sup>? Вышел только один том.

– Дайте мне сочинения всех московских литераторов: Загоскина, Погодина, Полевого.

– Полные сочинения?

– Полные.

– Налицо всех нет теперь, в палатке; да вам, чай, нужны в переплете; так дня через два будут готовы.

– Нет, мне сегодня нужно.

– Так не угодно ли взять, что есть налицо. Да ведь московского нынче нет ничего нового. Вот не угодно ли новый роман К...?

– Нет, К...а мне не нужно.

– Прекрасный роман, в четырех частях. Он теперь здесь, в Москве.

– В Москве? неужели? Ах, мне надо с ним видаться; где он стоит?

– В гостинице «Европа».

– Так положите и роман К-...а; да поскорее, мне некогда.

– Сию минуту; да уж позвольте иные *в бумажке* положить:

---

<sup>39</sup> «Сто литераторов» – название сборников, выходивших в издательстве А. Смирдина; первый том вышел в 1839, второй – в 1841, третий – в 1845 годах.

это все равно-с лучше переплести, когда поизорвутся.

– Хорошо; или нет... Впрочем, пожалуй.

Книгопродавец понял, с кем имел дело. Он навязал огромную кипу московского литературного хлама, подкрасил несколькими романами и повестями известных писателей, составил счет на двести пятьдесят рублей; взял деньги, низко поклонился доверчивому покупщику и сам вынес книги в коляску.

Михайло Памфилович заехал еще во французский магазин, купил несколько изданий illustr?s с политипажами<sup>40</sup>, и потом помчался в «Европу».

– Здесь стоит господин К...?

– Извольте посмотреть, на доске записано.

– А! в третьем номере; где третий номер?

– Извольте идти наверх: там покажут.

Михайло Памфилович, входя на лестницу, снял шляпу, поправил гребеночкой волоса, отыскал сам третий номер, потому что в коридоре никого не случилось. Дверь ее заперта; вошел в переднюю – никого нет; но в комнате кто-то распевает.

Михайло Памфилович приотворил легонько двери и вздрогнул, когда раздалось:

– Кто там?

Раскинувшись с ногами на диване, лежал довольно еще молодой человек, с истощенным уже лицом, с впалыми гла-

---

<sup>40</sup> Политипаж – старинное название гравюры на дереве, отпечатанной в книге.

зами, но в которых блистал огонь. Венгерка нараспашку, руки по карманам широких шаровар.

– Извините, – проговорил Михайло Памфилович, сделав современный реверанс головой вперед и поправляя очки, – в передней никого нет... и я не мог предупредить карточкой... Узнав, что вы посетили Москву, я, как почитатель вашего таланта...

– Покорнейше прошу! – сказал Дмитрицкий, окинув быстрым взглядом Михаила Памфиловича. – С кем имею честь говорить?

– Я так люблю русскую литературу, – отвечал Михайло Памфилович, подавая карточку, – я наслаждался чтением ваших сочинений и не мог отказать себе в желании видеть известнейшего нашего литератора.

«О-го! я сочинитель! прекрасно! Я думал поискать со свечой такого знакольца, а он сам явился: *Михайло Памфилович Лычков*», – подумал Дмитрицкий, прочитав визитную карточку.

– Очень рад познакомиться, сказал он вслух, – вы мне делаете много чести.

– Помилуйте, я так уважаю гениальность.

– Вероятно, и сами сочиняете? Кажется, я что-то читал...

– Ах, нет, я еще совсем неизвестен на этом поприще...

– Вы постоянный московский житель?

– Постоянный.

«Ну, о чем же мне еще с ним говорить?» – подумал Дмит-

рицкий, смотря на Михаила Памфиловича, который почти-тельно устремил на него свои очки и ожидал нового вопро-са»

– Москва – бесподобный город!

– Вам понравилась? Но как вы ее находите в сравнении с Петербургом?

– О, я нахожу, что Москва гораздо обширнее... Вы имеете здесь собственный дом?

– Как же-с, мой батюшка имеет свой собственный.

– Чем же вас потчевать?... Эй, кто тут? Что-нибудь заку-сить да бутылку шампанского!.. да сыру! Ведь я сказал, чтоб кто-нибудь здесь дежурил! Представьте себе, я здесь один-одинехонек, даже человека нет со мной.

– Вероятно, приехали в дилижансе? Человек – совершен-но лишнее.

– О, как можно, я не привык ездить без своего человека. Но у меня, верст за пятьдесят отсюда, сломался экипаж, два колеса вдребезги, а ось пополам; я оставил коляску, людей, чтоб как-нибудь починили, а сам поскакал на почтовых, при-езжаю в дом к одному знакомому, а он уехал из Москвы. Что делать? принужден был остановиться в гостинице.

– Это, точно, неприятно.

– Очень, очень неприятно! Вы трубку курите или сигары? Эй! подай сигар, да лучших!.. Не угодно ли отведать сыру... Откупорь! Это не кислые щи<sup>41</sup>?

---

<sup>41</sup> Кислыми щаами в дореволюционное время назывался напиток вроде кваса.

– Как можно-с; самое лучшее шампанское. Дмитрицкий налил стакан, хлебнул.

– Изрядное!.. Покорно прошу!

Михайло Памфилович знал приличие, что от шампанского не отказываются, и потому взял стакан и прихлебнул.

– Это что такое? нет, извините, мы чокнемся! Как бишь ее... Кастальскую воду пьют залпом, чтоб не выдохлась<sup>42</sup>.

В восторге от приема и дружеской простоты обращения Михайло Памфилович не умел отказаться от второго стакана.

– А я хотел просить вас, – сказал он, – сделать мне честь.

– Все, что прикажете.

– У меня сегодня литературный вечер, соберутся несколько московских известных литераторов... Надеюсь, что и вы не откажете быть у меня. Все так рады будут с вами познакомиться.

– На литературный вечер? – сказал Дмитрицкий, рассуждая сам с собой: «За кого этот мусье принимает меня? за какого-то известного литератора, которого никто еще в глаза не видал? Да это прекрасно! Отчего ж не сыграть роль известного литератора?... Он же меня ни по имени, ни по фамилии не величает, и я не скажу, кто я; из этого выйдет при

---

<sup>42</sup> Кастальский источник; находившийся согласно греческой мифологии на горе Парнас, считался источником поэтического вдохновения. Здесь Кастальской водой названо шампанское.

развязке славное кипроко<sup>43</sup>!»

— Очень бы рад, да не знаю, как это дело устроить; я теперь совершенно в затруднительном положении.

— Да не угодно ли вам переехать ко мне? — сказал Михайло Памфилович.

— К вам?... «хм!.. — подумал Дмитрицкий, — и это прекрасно!..» Но представьте себе, я здесь без платья и без денег, со мной только ключи от шкатулки... у меня неостанет даже денег здесь расплатиться. А скоро ли приедет Сенька с коляской! Остановясь в доме у приятеля, я не нуждался бы в деньгах; но вот, что хочешь делай!

Дмитрицкий вынул кошелек и вытряхнул из него ключик и червонец.

— Сколько вам нужно, я могу служить, — вызвался Михайло Памфилович. Самолюбию его льстила возможность служить известному литератору; притом же ему очень хотелось уже сказать всем и каждому: «У меня остановился К...»

— Со мной есть около двухсот рублей, — сказал он, вынимая бумажник.

— О, это еще с лишком, я думаю столько и не нужно будет, — сказал Дмитрицкий, взяв деньги. — Эй!.. счет!.. да! призови сюда ямщика!

— Дорога, я думаю, прескверная.

— Прескверная; а хуже всего было то, что нечего было есть.

— А гостиницы по дороге?

---

<sup>43</sup> Недоразумение, путаница (*франц.*).

– Помилуйте, это ужас!.. Ну, сколько?

– Тридцать два рубля-с.

– Вот вам пятьдесят, да с тем, чтобы всех обсчитывали так же, как меня... А тебе, мужик-сипа, кажется, следует шестьдесят рублей? да червонец на водку, не так ли?

– Если милость ваша будет.

– Ну, вот тебе от моей милости семьдесят пять рублей, кланяйся!

– Много благодарны.

– То-то же, я не богат, да тароват. Ступай! кажется, со всем распорядился... Не угодно ли получить семьдесят пять обратно? За мной сто двадцать пять.

– Так точно. Мы можем ехать?

– У вас есть чем побриться?

– Все, что вам угодно.

– У меня и бритв с собой нет; дурак Сенька положил чемодан в телегу, чтоб мне мягче было сидеть; а ключи оставил у себя.

– Чтоб перевезти чемодан, можно приказать нанять извозчика, а мы сядем в коляску.

– Конечно. Эй! найми извозчика и перевези мой чемодан к ним, по адресу.

– Недалеко отсюда.

Михайло Памфилович сказал адрес. Все устроено. Дмитрицкий сел с ним в коляску, и отправились.

– Я уж у вас буду без церемоний, в чем есть.

– К чему же церемонии!

– Я их и не люблю. Приедете ко мне, воздам вам сторицею; за хорошую игру в простых сдам вам игру в сюрсах<sup>44</sup>. А что, кстати, говорят, что в Москве ведут огромную игру?

– В английском клубе.

– В банк?

– Нет, банк запрещен; здесь играют преимущественно в палки<sup>45</sup>.

– Что ж, палками можно также отдуть.

– Как вам нравится Москва в сравнении с Петербургом? – повторил опять старый вопрос Михайло Памфилович, которого постоянно улыбающаяся физиономия от двух стаканов шампанского и чести ехать вместе с известным свету человеком приняла вид важный, ожидающий со всех сторон предупредительных поклонов.

– Как нравится Москва? в каком отношении? – спросил Дмитрицкий.

– В отношении общего вида, в отношении наружности?

– О, мне все равно, в каком сосуде ни заключаются люди, лишь бы они были такие, какие мне нужны. А что, здесь много хорошеньких?

– О, вам непременно надо быть в благородном собрании или в театре; вы увидите бомонд<sup>46</sup> московский и всех краса-

---

<sup>44</sup> Игра в сюрсах – козырная игра, игра наперняка.

<sup>45</sup> Палки – старинная карточная игра.

<sup>46</sup> Высший свет (*франц.*).



виц; если хотите, мы поедем вместе.

– Мне кажется, напротив, где много красавиц, там не увидишь ни одной. Приятнее знакомство: в доме хорошенькая хозяйка, миленькие дочки, и тому подобное; но чтоб особенно дочки не были опасны для сердца.

– Это каким же образом? Хорошенькие всегда опасны.

– Совсем не всегда: что за опасность, например, влюбиться в девушку, которая может принести тысяч сорок доходу? Это все равно, что влюбиться в тысячу душ и взять их за себя, или влюбиться в значительный капитал и перевести билет на свое имя.

Эта философия поразила Михаила Памфиловича: он уважал любовь всем сердцем.

– Вы поэт, а судите так прозаически, – сказал он.

– Это так вам кажется, потому что вы в восторге. Во время восторга я совершенно иначе думаю; я думаю, что рай только *с нею* или *в ней*.

– Вот мы и приехали, – сказал Михайло Памфилович. Коляска въехала на двор и остановилась перед крыльцом.

– Прекрасный дом! – заметил Дмитрицкий, выскочив из коляски вслед за Михаилом Памфиловичем, который провел его через переднюю на антресоли.

– Рекомендую вам мою обитель; а вот... покорнейше прошу, ваша комната.

– Я вас не стесняю?

– О нет, это мой маленький кабинет; у меня здесь доста-

точно комнат.

– Прекрасно! очень мило! вы очень мило живете!

– Не прикажете ли сигар? я сейчас велю подать огня. И Михайло Памфилович побежал вниз.

«Славный дом! очень порядочно живет! верно, хороший достаток! – рассуждал Дмитрицкий, засев на диване и рассматривая комнату. Шелковые занавески, столик, накрытый салфеточкой, на столике зеркальцо, раскрытый напоказ несессер, – несколько баночек помады, разные души, щеточки и гребеночки, все как следует!.. Между окон бюро<sup>47</sup>, на бюро Наполеон да два каких-то старикашки... По стенам в рамках раскрашенные красавицы... Прекрасно... Перед диваном столик, на столике лампа на бисерном коврике... Очень мило!.. Несколько визитных билетов разбросано по столу... с нами, дескать, знают люди!.. Князь \*\*\*... Ого!.. Однако ж я не вижу ни одного ломберного столика... Это невежество, которого я и не ожидал от молодого человека; дело другое говорить, что совершенно не умеешь играть в карты; но не играть – это глупо!»

Между тем как Дмитрицкий рассуждал таким образом, рассматривая свое новоселье, Михайло Памфилович сбежал вниз, поцеловал у папеньки и у маменьки ручку.

– С кем эхо ты приехал, Миша? – спросила мать.

– Это, маменька, известный литератор К...

---

<sup>47</sup> Бюро – то же, что конторка, особый вид письменного стола, за которым обычно работали стоя.

– Помилуй, Миша, с чего это ты взял, не сказываясь отцу и матери, сзывать в дом гостей? да добро бы хоть за день сказался: у нас здесь не трактир, ничего готового нет!

– Да что ж делать, маменька, сами назвались.

– Не отказывать же стать, друг мой, когда такие люди называются, – сказал в защиту сына Памфил Федосеевич, – известные люди, вельможи делают честь...

– Честь! да эту честь надо поддержать! не в грязь же ударить лицом! да что ж, этот, что спозаранку приехал?

– Господин К... остановился у меня.

– Как остановился?... Скажи, пожалуйста, остановился у него!

– Постой, матушка, дай слово сказать.

– Кто ж он такой, Миша?

– Он только что приехал из Петербурга.

– Поди ты: у него уж и в Петербурге знакомые! Что ж он, служит там?

– Он, кажется, служит при министерстве.

– Скажи, пожалуйста! при министерстве?

– Ах, господи, боже мой! я думала вместо обеда велеть ужин готовить для гостей, ан вот и обед готов! Просто, сударь, суматоху поднял в целом доме! Когда же успеет повар и обед и ужин готовить?

– Да зачем, маменька, ужин? просто закуску, а la fourchette<sup>48</sup>!

---

<sup>48</sup> Легкая закуска (франц.).

– Поди ты с модными своими фуршетами! Терпеть не могу гостей отпускать голодными, угощать только фаршами, вот вздумал!

– Совсем не то, маменька: так называется, когда на стол не накрывают, а просто подают кушанье.

– Как просто?

– Каждый возьмет себе чего-нибудь.

– Чего-нибудь у меня не будет, а будет ужин. Михайло Памфилович, как покорный сын, никогда не спорил с родителями, но всегда делал по-своему. Когда противилась маменька, его сторону держал папенька, и наоборот.

Снизу Михайло Памфилыч побежал опять к себе на антресоли, несколько раз спросил гостя своего: не угодно ли ему чего-нибудь? и наконец, извинясь, что на минутку отлучится, поскакал с визитами к двум-трем литераторам, обдумывая дорогой все средства, которыми можно было бы залучить к себе какую-нибудь известность.

Литераторы по большей части не жесткий и простодушный народ. Слабая струна у них всегда наруже: человек хоть не дальний, да похитрее и посмелее тотчас может произвести на них впечатление, только не затрогивай ничем гордость. Звать просто ни с того ни с сего к себе, зовом их не соблазнишь; но на каждого есть приманка и особенно страстишка к каким-нибудь редкостям искусств, к древностям, к ветхостям, к собраниям каких-нибудь автографов великих людей и прочее.

Приехав к первому, Михайло Памфилович, усладив, его вступлением о славе его, стал ахать и удивляться редкой библиотеке, а особенно маленькому собранию редких монет.

– Ах, какие редкие монеты! – повторял он без умолку, – у меня есть одна монета, но не знаю, какая она, должна быть очень древняя.

– С каким изображением?

– Изображен царь, а надпись... я не заботился разбирать: я мало в этом знаю толку; но, кажется, надпись славянская.

– Это очень любопытно.

– Завтра хотел приехать ко мне один знаток...

– Очень, очень любопытно бы видеть ее.

– Я вам могу служить ею... Если позволите ко мне сегодня ввечеру...

– Постараюсь быть непременно.

Взяв слово и рассказав свой адрес, Михайло Памфилович поехал от литератора прямо в меняльную лавку.

– Есть древние монеты?

– Редчайшие-с.

– Что стоит эта?

– Эта дорога-с; монета римского императора Антония. Вот с другой стороны и Клеопатра.

– Ну, что ж стоит?

– Сто рублей, без торгу.

– О, как дорого, нет! А эта?

– Это сибирский грош... Теперь уж и они редки».

– Ну, хочешь за обе пятьдесят рублей?

– Как можно!

– Больше не дам.

– Для первого знакомства, извольте!

Заплатил деньги, отправился к другому литератору, который между прочим похвастался собранием редких автографов.

– Ах, у меня есть собственноручные записки всех великих людей прошлого столетия и», между прочим, кажется, письма царевны Софии.

– Как это любопытно! позвольте мне взглянуть.

– Сделайте одолжение! Да не угодно ли вам посетить меня сегодня ввечеру, я бы вам показал кстати альбом рисунков одной дамы: все лучшие живописцы Европы рисовали для нее.

– Сегодня, право, не могу; завтра, если можно...

– Как жаль, завтра она уезжает. Хоть на минутку заезжайте.

– Очень хорошо.

Вот Михайло Памфилович поскакал к одному знакомому за автографами, а в один знакомый дом за альбомом.

Этот знакомый дом был дом Софьи Васильевны, в котором мы не были со времени бегства Саломеи Петровны. Петр Григорьевич, убедившись, что дочь бежала, плюнул и сказал жене:

– Вот твое воспитание!

Но Софья Васильевна была в отчаянии.

Желая утешить себя по крайней мере устройством судьбы Катеньки, она послала на третий день за Василисой Савишной.

Василиса Савишна явилась, словно подернутая туманом.

– «Слышала, Василиса Савишна? – сказала Софья Васильевна, залившись слезами.

– Слышала, сударыня! да это чудо какое-то; знаете ли, почему я к вам и идти не хотела?

– Что такое?

– Федор Петрович сквозь землю провалился.

– Как?

– Да так и так.

Эта новость совершенно убила Софью Васильевну. Два несчастья совершились; надо было ожидать третьего. Но вместо ожидаемого несчастья через несколько дней перед домом на улице остановилась роскошная карета, запряженная чудной четверкой гнедых; человек в ливрее вбежал в переднюю и спросил, дома ли господа?

– Кто такой? – спросила нетерпеливо Софья Васильевна. Ей подали два билетики, на одном напечатано было:

«Федор Петрович Яликов», на другом: «Саломея Петровна Яликова».

– Петр Григорьевич! – вскричала Софья Васильевна, бросаясь в кабинет к мужу, – Петр Григорьевич!..

– Что такое, матушка?

Но Софья Васильевна *без памяти, без слов* упала в кресла, а билетика упали на пол.

— Что такое? — повторил Петр Григорьевич, поднял билетика, взглянул на них и онемел.

— Это что за штуки! — вскричал он, наконец. — Насмешка над отцом!

— Зови их! — произнесла слабым голосом Софья Васильевна; я умираю...

— Их? чтоб нога их здесь не была! — вскричал снова Петр Григорьевич.

Софья Васильевна ахнула и повисла, как мертвая, на креслах. Петр Григорьевич от испугу позабыл о своем гневе, кричит во все горло:

— Эй, люди! воды! Зовите Саломею Петровну!..

Вскоре явилась и вода и Саломея Петровна, разряженная в пух, как говорится по-русски.

Чувствуя всю неприличность броситься в таком наряде помогать матери прийти в себя, она остановилась, потом присела, между тем как Петр Григорьевич, ничего не чувствуя и ничего не видя, кроме помертвевшей своей жены, spryskival ee водой, натирал виски спиртом, подносил к носу *четырех разбойников* и, наконец, возвратил к жизни.

Саломея Петровна смотрела на все это, понюхивая надутый платок с улыбкой. Мысль ее была полна радости, что она успела перехитрить мать.

«Я ожидала этой сцены, — думала она, — так жестоко ру-



шились планы на счастье Кати! От этого можно упасть в обморок!»

– Здравствуйте, папа! – сказала она наконец, подходя к отцу.

Петр Григорьевич взглянул было грозно, хотел что-то сказать, но Софья Васильевна вскрикнула:

– Саломея!

– Здравствуйте, татап.

– Зачем ты это сделала? Ты меня совершенно убила! – проговорила слабым голосом Софья Васильевна.

– Гм! – произнесла, улыбнувшись, Саломея.

– Где муж твой?

– Он в зале, если позволите... Федор Петрович!

Федор Петрович вошел в кабинет... Но это был уже не тот Федор Петрович в усах и в мундире. Это был мужчина без усов, наряженный по последней моде, в таком хитро скованном фраке с принадлежностями, который шьется не по скверной какой-нибудь талии, а по изящным формам болвана.

Петр Григорьевич хотел было встретить зятя строгим взором; но видит незнакомого мужчину, разряженного, завитого, в белых перчатках, с изумрудной булавкой на груди, с драгоценной палкой в руках. Петру Григорьевичу ничего более не оставалось делать, как сконфузиться и почтительно поклониться.

Но женщины скорее узнают мужчин.

– Боже мой, неужели это Федор Петрович? – вскричала Софья Васильевна.

– Я бы никак вас не узнал, – сказал и Петр Григорьевич.

Федор Петрович бросился к нему в объятия и потом подошел к ручке к Софье Васильевне.

– Ах, сестрица! – вскричала Катенька, вбежав в комнату с радостным чувством, и хотела броситься в объятия к Саломее.

– Здравствуй! – сказала Саломея Петровна, воздержав ее от восторга, и вспыхнула, когда Федор Петрович с восклицанием: «Катерина Петровна!» – бросился к руке Катеньки.

– Ах, я вас насилу узнала! – сказала Катенька – как вы вдруг переменялись.

– Очень ошибаешься, нисколько не переменялся! – сказала Саломея Петровна тоном двусмысленности. – Федор Петрович и прежде считал и теперь считает тебя ребенком.

Эти слова для всех показались обидными, но никто не сказал ни слова.

Федор Петрович с жалостью посмотрел на Катеньку; он уже чувствовал, как тяготела над ним начальничья воля супруги. С первых дней бракосочетания проявилось в нем сознание, что он попал в какую-то нового рода службу, хуже бессменного караула за наказание. Саломея Петровна сначала занялась учением Федора Петровича манерам и приличию, чтоб не стыдно было показать свету *предмет своей страсти*, которую она в кругу знакомых называла прихот-

ливой, причудливой, но обдуманной.

– Я искала, – говорила она, – человека не для света, но для счастья семейной жизни, который бы во мне видел все и жил для меня одной. Я и замужем не хотела терять свободы.

Эту мысль поняли и сознали справедливой почти все без исключения дамы, знакомые Саломее; многие даже завидовали ее выбору; но девушки смеялись над счастьем без оков любви.

Просвещать Федора Петровича, однако ж, скоро надоело Саломее Петровне; она не видела в нем ни *grace*<sup>49</sup>, ни *чего-то*, что, несмотря на удовлетворение ее полной свободой, одно только могло наполнить давно чувствуемую ею пустоту и в доме, и вне дома, и в мыслях, и в груди, и наяву, и во сне.

Между тем как Саломея Петровна повсюду искала этот *икс*, с домом ее родителей познакомился Михайло Памфилович и страстно влюбился в Катеньку. Для нее он хотел непременно сделаться поэтом, пробовал тысячу раз написать стихи к ней, и написал уже первый стих:

*О милая Катенька!*

сидел над ним по целым ночам, засыпал над ним и просыпался; но кроме *милой Катеньки* ничего не приходило в голову. Однако же стихи необходимы для альбома. Михайло Памфилович знал, что в стихах главное мысли, и потому об-

---

<sup>49</sup> Грация (франц.).

ратился с этими мыслями к одному из поэтов-товарищей, и вышли стихи *такого-то с мыслью* Лычкова. Таким образом под своими мыслями можно было подписать свое имя. Катенька была охотница рисовать, рисовала порядочно. Она из знакомых, путешествовавшая по Европе, одолжила ей свой довольно замечательный по рисункам альбом для скопирования некоторых видов. Этим-то альбомом и хотел похвастаться Михайло Памфилович и приехал просить его у Катеньки *на минутку*.

Тут застал он Саломею Петровну и, разумеется, объявил, что у него сегодня *литературный вечер*; между прочим похвастался и тем, что у него остановился К...

– Ах, как это интересно! Я к вам приеду, и вы меня познакомите с ним, – сказала Саломея Петровна, продолжавшая и в замужестве искать идеала мужчин.

Михайло Памфилович помчался домой; а между тем знакомцы его родителя, Лукьян Анисимович и Григорий Иванович, прежде всего отправились по своим знакомым похвастаться той честью, которая их ожидает.

– Да-с, бог приведет, – говорил Лукьян Анисимович, – сегодня ввечеру мы увидим всех сочинителей в лицо.

То же говорил и Григорий Петрович, но с прибавлением, что его просил Памфил Федосеевич позанять их своим разговором.

– Я, конечно, не ударю лицом в грязь, случалось мне и с самими сенаторами разговаривать; но представьте же мое

положение: взять на себя хозяйскую обязанность занимать гостей в чужом доме! «Помилуйте, Памфил Федосеевич, – говорю я, – как это можно!» – «Сделай, братец, одолжение, я ни словечка не буду уметь сказать про литературу!» Нечего делать, согласился!

Из числа знакомых Григория Ивановича была одна девица, занимавшаяся в доме родительском не вязаньем чулков и не вышиваньем по канве, но плетением стихов. Кто ее призывал к поэзии, бог ее знает; известно только то, что она, помимо чистописания, правописания и здравописания, начала прямо с стихописания и многописания. Без сомнения, что все это было *вдохновение*, как она выражалась в одних стихах без препинаний и без *цезуры*<sup>50</sup> или, как она выражалась, без *цензуры*. Она даже написала стихи к своему цензору в подражание Пушкину, в которых объясняла ему, что ее стихи – свободные птицы, которых она ни за что не посадит в клетки.

Эта гениальность истекала, разумеется, из чувств, которыми она была преисполнена и которые, как известно, истекая не на чье-нибудь сердце, а на бумагу, кристаллизуются в стихи.

Дева-поэт, очень естественно, захотела узреть мужей-поэтов и потому сказала Григорию Ивановичу, чтобы он непременно доставил ей случай быть на литературном вечере у

---

<sup>50</sup> *Цезура*. – пауза, остановка, делящая стих на два ритмически равных полустишия.

Памфила Федосеевича.

– Каким же образом? Я, ей-богу, не знаю, – сказал Григорий Иванович.

– Ах, боже мой, скажите просто, что такая-то сочинительница также желает познакомиться и быть на литературном вечере.

– Конечно, Григорий Иванович, ведь моя Домаша также известна публике: вы знаете, что ее стихи напечатаны в журнале.

– Как же-с, оно, конечно-с, без сомнения... только... Впрочем, я, пожалуй, скажу.

– Вы предупредомьте, теперь же съездите, скажите, что я приеду с вами.

Григорий Иванович, разумеется, отговориться не умел, и его немедленно же прогнали! предупредить о приезде на вечер девы-поэта.

– Сделайте одолжение, за честь себе великую поставим, – сказали Памфил Федосеевич и супруга его.

– У нас, батюшка, и из Петербурга гость, известный сочинитель, да также не из маленьких людей, рука у министра.

– Такие хлопоты, Григорий Иванович, что уж и не знаю, – прибавила Степанида Ильинишна, – тут за обедом нельзя же чем-нибудь накормить, а того и гляди, что начнут собираться; встречай, принимай гостей да в то же время думай о чае, об угощенье, об ужине!

– Маменька, – прервал Михайло Памфилович, прибежав

сверху, – он не сойдет вниз, потому что утомился с дороги; прикажите наверх подать кушанье.

– Вот! все труды и подвиги пошли под ноги! А тут уж на стол накрыто! Да что ж, он сойдет ли по крайней мере хоть в глаза плюнуть хозяину и хозяйке? Для чего ж я спозаранку разрядилась?

– Нельзя же мне ему сказать, чтобы он сейчас шел; он сам знает приличия.

– Уж так, у вас теперь у всех какие-то приличия; не в первый раз уж ездят к тебе такие бонтоны<sup>51</sup>, в дом ездят, а хозяйина в глаза не видывали. Какие-то приличия знают, а обычая не ведают.

Михайло Памфилович, не оспаривая матери, побежал наверх занимать гостя, который, развалясь на диване по-хозяйски, расспрашивал его про обычаи московские. Парадный обед Степаниды Ильинишны очень позапоздал; и потому после обеда осталось только времени на туалет к приему гостей.

---

<sup>51</sup> Благовоспитанные люди (От франц. *Von ton* – вежливое, светское обращение).

# Часть третья

## I

Часов в семь вечера, проезжая мимо дома Памфила Федосеевича, можно было подумать, по необыкновенному освещению комнат, что тут, верно, дело готовится к балу; бумажные люстры, *изобретение Воронова*, были во всем своем блеске; по углам – лампы на треножниках, по столам – подсвечники. Разодетая Степанида Ильинишна то пройдет по комнатам и смахнет белым своим носовым платком там и сям, по столам и стульям пыль; то побежит в девичью, которая в экстренных случаях обращается всегда в буфет. Сам Памфил Федосеевич, в каком-то павловских времен мундире, похаживает взад и вперед в беспокойном ожидании, осматривается и охорашивается в зеркало. Не должно забыть, что в подражание престарелым вельможам былого времени на нем плисовые сапоги; в одной руке огромная золотая табакерка, в другой – пестрый носовой платок. В этом беспокойстве ожидания гостей – вельмож нового века, и сверх того литераторов, он почувствовал всю необходимость ассистента и досадовал на себя, что не сказал Лукьяну Анисимовичу, чтоб приехал пораньше. Но Лукьян Анисимович, легок на помине, явился вовремя, также в мундире,



но девятнадцатого столетия, с двумя коротенькими, разъехавшимися и оттопырившимися острыми фалдами сзади, в один ряд пуговиц спереди, с удушливым воротником.

– Ну, рад, что вы приехали, Лукьян Анисимович, а то меня уж скука взяла.

– Э, как вы примундирились, Памфил Федосеевич. Да ведь я бог знает с каких пор не видывал вас в мундире!

– А что, а? Тряхнул стариной!

– Славно, ей-богу, славно; а правду сказать, прежние мундиры как-то гораздо почтительнее.

– Чу! Кто-то, кажется, приехал!

– Кто-то приехал!

– Где ж Миша? Что он нейдет сюда? Иван, позови, братец, Мишу!

– Сейчас-с, фрак изволят надевать.

– Степанида Ильинишна! Кто-то уж приехал!

– Неужели? Встречай же! Да где же Миша? Скажите-ему! Степанида Ильинишна села в гостиной, а Памфил Федосеевич вышел в сопровождении Лукьяна Анисимовича в залу.

В передней раздалось вдруг несколько юношеских голосов:

– Дома Лычков? – А! и ты приехал? Куда ж к нему? – Сюда, наверх? – А! здравствуй. Не рано ли? Я прямо из канцелярии: дело, братец, черт бы драл, думал до полночи задержит!

– Что ж это? Кто это? где ж Миша? – повторял Памфил

Федосеевич, слыша, что восклицания вперебой все глуше и глуше, и только крикливые голоса и топание стали раздаваться над потолком.

– Да что ж это за дурак Миша? Увел их к себе вверх, – продолжал Памфил Федосеевич, воротясь в гостиную. – Вверх ушли, матушка!

– Ах, батюшка, да придут!

– Чу! Кто-то еще приехал!

Снова в передней шум, говор, и снова все ушло вверх.

Еще кто-то приехал, и еще, и еще; над залой и гостиной такая топотня, что ужас.

Степанида Ильинишна не усидела, выбежала в залу, где Памфил Федосеевич и Лукьян Анисимович стояли в недоумении.

– Это бог знает что! – вскричала было Степанида Ильинишна, – там черти возятся!

Вдруг кто-то подъехал, Степанида Ильинишна бросилась в гостиную, дверь отворилась.

– А! Григорий Иванович!..

Вслед за Григорьем Ивановичем вошла, в огромных белокурых локонах, полная томная луна, водруженная на гибкий, зыблющийся стан, в раздутом шелковом платье, на крепко накрахмаленной шумящей юбке.

– Домна Яковлевна, – сказал Григорий Иванович, – известная по своим сочинениям...

– Ах!.. За счастье поставляем, что вы сделали честь

пожаловать; покорнейше прошу... Степанида Ильинишна!. Вот... Григорий Иванович сделал нам удовольствие...

– Я желала познакомиться с вами... Я так много слышала... – произнесла дева-поэт, приседая перед Степанидой Ильинишной.

– Очень приятно, очень нам приятно... Покорнейше прошу... Вы проводите также время в стихотворениях?

– Да-с, это любимое мое занятие.

– Это очень приятное занятие...

– Да-с, имея способность, нельзя жертвовать ею для каких-нибудь пошлостей...

Домна Яковлевна не успела кончить речи, как вошел Иван и дал знак барыне, что, дескать, кое-что нужно сказать.

– Извините, – сказала Степанида Ильинишна, выходя. – Что тебе?

– Михайло Памфилович приказал подавать чай.

– Это что! Чай? Кому?

– Да там много гостей у Михаила Памфиловича. – Что ж это он туда их завел? А?

– Не могу знать-с; только там их очень много; такие все бойкие господа.

– Скажи Мише, что здесь...

– Кто-то приехал! – сказал Иван, побежав в переднюю. Приехали Гуровы, знакомые, а потом еще знакомые, а вслед за этими знакомыми Саломея Петровна.

– У вас вечер литературный, Степанида Ильинишна? У

вас будет известный поэт, – сказала Саломея.

– Да-с, литературный.

– Неужели? Ах, боже мой, мы и не знали!

– Ах, Памфил Федосеевич! Что это значит, что вы в таком параде?

– Да как же, нельзя иначе.

– Так прикажете подать чай, сударыня? – повторил вопрос слуга.

– Подождать! Здесь подадут.

– Да барин три раза уже присылал.

– Где же Михайло Памфилович? – спросила Саломея Петровна.

– Позови Мишу!

В гостиной происходило уже тара-бара. Дева-поэт смотрела на всю толпу молча, презрительно и, видя, что тут дело идет не о поэзии, подозвала Григория Ивановича и спросила его: «Это-то литераторы?»

– Нет-с, они все наверху.

– Что ж мы туда нейдем?

– Как можно-с!

– Да что ж, они придут?

– Я полагаю-с.

Появился Михайло Памфилович, всем раскланялся в гостиной.

– Помилуй, что это ты загнал всех наверх? – спросила его шепотом мать.

– Прикажите, маменька, подавать чай ко мне, – сказал он, не отвечая на ее вопрос.

– Где ж, братец, литераторы-то? – спросил шепотом Памфил Федосеевич.

– Ах, папенька, что это вы в мундире? – отвечал Михаил Памфилович, взглянув на отца.

– Да как же, братец! Что ж это...

– Михайло Памфилович, где ж ваш поэт? – спросила Саломея Петровна.

– Наверху, – отвечал он.

– Приведите его сейчас сюда и познакомьте меня с ним, слышите ли?

– Непременно-с, позвольте только, – отвечал торопливо озабоченный Михаил Памфилович.

– Вызовите, Михайло Памфилович, сочинителей сюда, – говорила одна пожилая знакомая. – Ну, что они там попрятались от людей; нам хочется хоть взглянуть на них.

– Я предложу... но нельзя же... – отвечал Михайло Памфилович, не зная, как вырваться из гостиной наверх, где действительно происходил литературный вечер: один поэт читал свои стихи, в которых описывал портрет дьявола.

– Bravo, bravo! Живой дьявол! Вот дьявол! – восклицали канцеляристы, не обращая внимания на Дмитрицкого, который сидел в углу на диване, курил сигару и в свою очередь дивился.

«Аи да литераторы!» – думал он.

Один из восторженных слушателей сидел подле окна, где на столике горела лампа. Окно было отворено, дым валил в него, как из трубы.

– Браво! Вот дьявол! – вскричал он и в восторге так ловко размахнулся рукой, чтоб аплодировать поэту, что стоявшая лампа, как ракета, полетела в окно и бух на перилы заднего крыльца. А на крыльцо в это время вышла Степанида Ильинишна, вызванная девкой послушать, что происходит сверху; осколки стекол, брызги масла обдали ее.

– Господи! Что это такое? – вскрикнула она, опомнившись от ужасу. – Миша! Миша! Убили меня... Господи! Это собрались какие-то разбойники!

– Ах!.. Извините, сударыня, ей-богу, не нарочно, – отвечал голос из окна антресолей, и вслед за этим раздался хохот как будто нечистой силы.

Михаила Памфиловича тут уже не было; он предложил мнимому поэту сойти вниз, соблазнив его прекрасной дамой.

– Не хотите ли познакомиться с одной из замечательных московских красавиц? Вам, верно, она понравится, – сказал он ему.

– Кто она такая?

– Саломея Петровна Яликова.

– Большого круга?

– Большого.

– Богата?

– Очень богата; как поет! Я попрошу ее спеть что-нибудь.

– Пойдемте знакомиться с дамами: мне ваши литераторы не понравились, – сказал Дмитрицкий.

И сошел вниз вслед за Михаилом, Памфиловичем, который мимо отца (маменька в это время была на крыльце) подвел его к Саломее Петровне.

Побрившись, пригладившись, в венгерке, Дмитрицкий был хоть куда мужчина; статен, смел в движениях, с метким взглядом, за словом в карман не полезет, прикинется чем угодно, словом, человек с надежной внутренней опорой.

С первого взгляда он поразил Саломею Петровну так, что у ней заколотило сердце.

Войдя в комнату и обратив на себя общее внимание, он устремил на нее какой-то непреклонный взор, и ей казалось, что он уже обнял ее и она не в силах ему противиться. – Я очень счастлив, – сказал Дмитрицкий подходя, – что первое мое знакомство в Москве так лестно для моего самолюбия.

– Без сомнения, это взаимно, – отвечала Саломея, вспыхнув, – такой у нас гость должен быть всеми встречен с радушием.

– Всеми? Избави бог, одному всех не нужно! – возразил Дмитрицкий по сердцу Саломее.

– Мне приятно, что и мои мысли согласны с вашими.

Дмитрицкий сел подле Саломеи, и они, не обращая ни на кого внимания, продолжали разговор, между тем как все прочие отделились от них, как от жениха с невестой; гово-

рили шепотом, посматривая на счастливую чету; только дева-поэт почувствовала в себе столько смелости, чтобы сесть подле Саломеи и принять участие в разговоре с поэтом.

Эта соседка очень не понравилась Саломее; окинув ее проницательным взглядом, она сказала Дмитрицкому:

– Пересядемте, пожалуйста: здесь так неловко, на этих креслах.

И с этими словами она пересела на маленький двухместный диванчик в углу гостиной и предложила Дмитрицкому сесть подле себя. Это была позиция, к которой ни с какой стороны нельзя было уже подойти неприятелю.

– Москва, может быть, вам понравится, – продолжала Саломея, – но люди – не знаю; до сих пор я не встречала этого... этого... великодушия, которое так свойственно человеку.

– Великодушие? О, это пища души! – перервал Дмитрицкий, поняв, что это слово должно играть важную роль в словаре Саломеи. – Великодушие! Я не знаю ничего лучше этого!.. Как бы его определить?

– О, великодушие есть рафинированное<sup>52</sup> чувство!

«Именно, рафинад, душа моя!» – сказал Дмитрицкий про себя. – Именно... О, я понимаю вас! Вы должны сочувствовать всему, сострадать людям!

– Да, я очень чувствительна.

– И не говорите, это видно; я уверен, что все недостатки их вы бы готовы были пополнить собою.

---

<sup>52</sup> Утонченное (*франц.*).



– Ах, как вы проницательны; я в первый раз встречаю такого человека.

– О, не говорите; знаете ли, я рад, что люди не совершенны; если б все женщины были хороши, я бы не встретил лучшей.

Эта фраза проникнула глубоко в сердце Саломеи, и оно заговорило: вот человек, которого я так долго и безнадежно искала. После этого, разумеется, невольно высказалась жалоба на судьбу, что судьба бросает человека в зависимость, не соответствующую ни его уму, ни его сердцу.

Все это Дмитрицкий очень хорошо понял и, разумеется, стал доказывать, что если судьба есть такое существо, которое бросает человека не туда, куда ему хочется, то и человек есть такое существо, которое может подниматься на нош и выходить из трущобы...

В заключение разговора Саломея, чтоб совершенно очаровать Дмитрицкого, присела за фортепьяно, взяла несколько аккордов, но почувствовала, что фортепьяно недостойно прикосновения ее руки».

– Ах, спойте, – сказал Дмитрицкий.

– Не могу, – отвечала Саломея, – это какие-то древние клавикорды! Я спою вам, когда вы будете у меня.

И разговор кончился тем, что Саломея Петровна предложила Дмитрицкому на другой же день быть у нее. Рассказав ей историю ломки экипажа, и что он здесь в ожидании своих людей без всего, Дмитрицкий извинился, что в подобном

наряде он не решится делать визиты.

– Вы будете приняты без церемоний, *как свой*, и я вас непременно ожидаю.

– Вы так снисходительны; но муж ваш может принять это за невежество.

– О нет, за него я могу поручиться. До свиданья.

Саломея Петровна уехала, Дмитрицкий остался посреди гостиной без компаса. Он вспомнил, что тут есть хозяева дома, а между тем затруднялся узнать их. Из стариков мужчин Памфил Федосеевич более всех походил на гостя; из почтенных дам, хоть Степанида Ильинишна явно суежилась и часто выбегала из гостиной по хозяйству, но одна старуха более ее походила на настоящую хозяйку, хлопоча об висте и предлагая всем сесть по маленькой. Однако ж Степанида Ильинишна сама вывела его из затруднения. Несмотря на озлобление свое против всех московских сочинителей, которые забрались к сыну и бушуют у него, и на досаду за невежество приезжего поэта, который, не рекомендовавшись еще хозяйке, любезничает в гостиной, Степанида Ильинишна подошла к Дмитрицкому.

– Очень благодарна, что вы почтили вашим расположением моего Мишу, – сказала она ему.

– Но я могу показаться вам невежливым, – прервал Дмитрицкий, – приехал в дом и по сию пору не представлен вам и супругу вашему; я по крайней мере просил вашего сына познакомиться меня...

– Ах, какой он! Извините его рассеянность... Памфил Федосеевич, вот наш гость желает познакомиться с тобою.

Дмитрицкий повторил свое извинение и перед хозяином, который в свою очередь стал извиняться, что это следовало бы исполнить ему, но что Миша не предупредил, и тому подобное.

Дмитрицкий в несколько минут очаровал всех и даже старуху, которой хотелось не терять времени и сыграть партию в вист.

Чтоб хоть взглянуть на карты, он сам вызвался вистовать, если только найдется партия. Партия составила из пожилой старушки, Дмитрицкого, Лукьяна Анисимовича и самой хозяйки. Хотели уже разносить карты, но, к несчастью, литературная дева, долго выжидая случая побеседовать с известным литератором, решила, наконец, обратить на себя его внимание чтением последнего своего произведения наизусть. Она без церемонии привязалась к Лукьяну Анисимовичу, увлекла его в литературный разговор, и, только что он сказал, что ужасно любит ее стихи, особенно с рифмами, она тотчас же предложила ему прочесть стихи, откашлянулась и начала декламировать о том, что чувства чувствуют, что душа жаждет, а сердце просит.

– Ах, как прекрасно! – сказала хозяйка, из должного приличия.

– Это ничего, – произнесла смиренно литературная дева, – если вам угодно, – продолжала она, обращаясь ко

всем, — я прочту вам маленькую поэму, которая будет занимательнее.

Пожилая старушка закашлялась от досады; Дмитрицкий сказал что-то про себя и хотел было проходиться по комнате, но литературная дева обратилась к нему с предисловием.

— При вас, — сказала она, — мне совестно читать; я надеюсь, вы будете снисходительны к маленькому моему таланту.

— О, помилуйте, — отвечал было просто Дмитрицкий, но подумал, что, верно, эта дева должна быть какая-нибудь литературная известность, и потому почел за долг прибавить: — Все ваши известные произведения так прекрасны, что мне остается заранее восхищаться и новым вашим произведением.

— Вы, вероятно, в рукописях читали мои стихотворения: я еще не решалась ничего печатать, — отвечала дева, — я не знаю, что такое печать, это пустяки; что прекрасно, то отпечатывается в памяти каждого.

— О, конечно! — отвечал Дмитрицкий нетерпеливо, — непременно! Так позвольте прослушать.

— Я вас должна предупредить, что поэма, сочиненная мною, взята из истинного случая, из жизни одной моей знакомой... Судьба ее была удивительна, вы увидите сами.

Литературная дева откашлянулась, сделала движение вроде *польки*, и произнесла:

*В одной из деревень губернии Тамбовской...*

– Я должна предупредить, – сказала она остановившись, – что происшествие случилось в Московской губернии; но я отнесла его к Тамбовской; это было необходимо, потому что все лица поэмы моей еще живы... сверх того, я переменила имена...

*В одной из деревень губернии Тамбовской...*

*Жил некто, коего мы имя умолчим,*

*А назовем примерно: Полозовской...*

– Полозовской? Верно, Денис Иванович, – сказала почтенная старушка. – Любопытно послушать про него. Вы, стало-быть, знакомы с ним?

Литературная дева смутилась.

– Я никак не думала, – сказала она, – что выдуманная мною фамилия существует, я ее заменяю...

*Итак, рассказ свой продолжим.*

*Он был женат; его супруга*

*Была подобие и ангела и друга...*

– Ну, в этом прошу извинить, я их коротко знаю: всегда жили как кошка с собакой.

– Ах, боже мой, я не о том Полозовском пишу, который вам известен; это не Полозовский, а положим, хоть Зимовский.

– Такой и фамилии нет во всей Тамбовской губернии; все помещики до одного мне известны; может быть Сановский, да он холостяк.

– Я повторю известный стих: «Но что нам нужды до названья, положим, что звалась Маланья».

– Кто? Жена-то Дениса Ивановича?... Извините!

– Это не мои стихи-с и не относятся к поэме, – отвечала презрительно литературная дева, – это стихи Дмитриева.

– Дмитриева? Так кто ж их не читал?... Прощайте, матушка Степанида Ильинишна!

– Что это? Куда ж вы?

– Пора, пора!

– Да ведь вы хотели в вистик сыграть?

– Да когда ж, матушка, мы сядем? В полночь? Если играть, так играть; золотое время терять нечего!.. Вы играете?

– С величайшим удовольствием, – отвечал Дмитрицкий.

Между тем вся публика, совокупившись в гостиную слушать поэму, во время возникшего спора чинно разбрелась по комнатам; в гостиной осталась партия виста да озлобленная литературная дева.

Хозяйка из приличия сказала было ей: «Уж извините, до другого разу»; но она, ни слова не отвечая, крикнула:

– Григорий Иванович, поедemте! – присела и вышла из гостиной.

– Что это за халда, матушка, выдает стихи Дмитриева за свои?

– А бог ее знает! Григорий Иванович привез за сочинительницу стихов.

– Сочинительница! Я тотчас вывела ее на чистую воду; вздумала выдавать историю, что случилась с Денисом Ивановичем, за свою! Ведь, как вы думаете, она уверена была, что здесь никто его и не знает; а я как назло тут.

– Какая ж история случилась с этим помещиком?

– И это соврала: Денис Иванович совсем не помещик, а чиновник. Жена его, которую она назвала Маланьей, совсем не Маланья, а Матрена; история вышла пасквильная – разошлись; а причина-то смеху достойная. Поехал Денис Иванович в Москву, пробыл там, кажется, с месяц да повредился там, что ли, бог его знает; только, возвратившись, вдруг ни с того ни с сего, еще и не поздоровавшись, говорит: «Скажи, Матрена Петровна, слава тебе господи, мужик лапотки сплел». – «С чего ты взял, что я буду говорить», – сказала Матрена Петровна. – «Сделай милость, скажи!» – «Вот пристал!» – «Да скажи же, Матрена Петровна, скажи!» – «Не скажу!» – «Эй, говорит, говори, а не то плохо будет» – «Пошел ты к черту!» – прикрикнула с досадой Матрена Петровна. – «Кто, я к черту? Так пошла же ты сама к черту!» И пошел дым коромыслом; слово за слово – ссора! Насилу усовестили. Дело-то все вышло в том, что в Москве Денис Иванович начитался какой-то книги, как узнавать, любит жена мужа или нет.

– Какая ж это книга? – спросил Памфил Федосеевич. – Я

не слыхал о такой книге.

– Не знаю, – прибавил Лукьян Анисимович.

Послали навверх за Михаилом Памфиловичем: он водится с литераторами, так должен знать; но и Михайло Памфилович не имел об ней понятия и побежал справиться у гостей своих.

– Так вот видите ли, помириться помирились; да в первый же день опять поссорились. Денис Иванович из Москвы же вывез какое-то новое кушанье: вишь, черепаховый суп из телятины, и велел повару приготовить; ест да похваливает: «Попробуй, – говорит Матрене Петровне, – чудо!» – «Подиты, пожалуйста, с своим супом!» – «Сделай милость, отведай! Это такая роскошь, прелесть, что на удивление!» – «Ни за что не отведаю; я и подумать не могу о черепахе: это такая скверность, так с души и воротит!» – «Ну, сделай одолжение, попробуй! Для меня! Ведь это из телятины, только называется черепаховым». – «Ни за что!» – «Так ты не хочешь даже и отведать?» – «Не хочу!» – «Так черт же с тобой!» Да как хлоп *по* тарелке, тарелка вдребезги, а весь суп в лицо Матрене Петровне. Ну, тут уж и средств не было примирить; твердит одно: «Как, для меня даже дряни какой-нибудь не хочет в рот взять; да добро бы есть, а то просто – отведать!»

Продолжение рассказа было прервано приходом Михаила Памфиловича, который объяснил, по сделанной справке, что о том, как перебранились мужья с женами за лапоть, напечатано не в книге, а в журнале, называемом «Наблюдатель»,



и что повесть о том, как мужик лапоть сплел, сочинил казак Луганский<sup>53</sup>. Начались суждения, зачем сочинять такие журналы, за которые можно ссориться, и для чего варить такие французские супы из всякой гадости, от которых порядочного человека может стошнить.

Между тем наверху происходили литературные прения; кроме двух самобытных поэтов, тут была всё образованная молодежь, читавшая ежемесячные журналы и почерпавшая из них ту премудрость, которая основывает все на своем собственном убеждении и на своем внутреннем чувстве. Один из них вместо пошлого русского слова *восторг* говорил все по-гречески: *нафос!* И это придавало его речи какое-то особенное возвышенное значение; другой перебивал его вопросом: позвольте, позвольте! Какой же из этого результат? Третий говорил, что всё это пустяки и что рассуждать не так должно! Четвертый остановил бегающего то вниз, то вверх Михаила Памфиловича словами: «Что ж, братец, не едут твои литераторы? Мне бы хотелось прочесть моего Демона!» Михаиле Памфиловичу ужасно как хотелось объявить, что один из известных литераторов есть налицо; но он дал слово молчать до времени.

Литературный вечер кончился вверху шумной беседой канцелярских служителей, а внизу вистом.

---

<sup>53</sup> Имеется в виду журнал «Московский наблюдатель» (1835–1840), где была напечатана повесть Казака Луганского «Иван-лапотник». Казак Луганский – псевдоним беллетриста и лексиколога Даля В. И. (1801–1872).

На другой день Дмитрицкий просил Михаила Памфиловича, чтоб послать ему нанять извозчика: Михайло Памфилович предложил ему свой экипаж, но он никак не согласился на это и отправился в фаэтоне осматривать Москву и ее достопримечательности, только не по части археологии.

Это было на другой день; но в тот же день Саломея Петровна, воротясь домой, завела разговор с своим Федором Петровичем о доходах имения и предложила ему воспользоваться хорошей погодой и, нимало не откладывая, съездить в имение, покуда не начались осенние дожди. Но Федор Петрович так разленился, что и думать не хотел о поездке. Упрек, что он мало занимается хозяйством имения, не подействовал. Других средств нельзя было употребить.

– Я уж чувствую, что и с твоим имением будет то же, что с батюшкиным: деньги растратишь, как батюшка, и хоть по миру иди.

– Чем я транжирю, Саломея Петровна?

– Да мало ли, и не пересчитаешь пустяков, которые ты покупаешь поминутно!

– А например?

– Я уж не говорю о твоей птичьей охоте, о брошенных деньгах на канареек и соловьев, которых ты развел как в птичнике; положим, что это составляет твое единственное удовольствие; но зачем мы занимаем такой огромный дом, зачем накупил ты эти пустые, но дорогие вещи?

– Да ведь это всё... сами вы, Саломея Петровна, говорили

мне, что нужно купить.

– Я же виновата! Кому же быть расчетливым, как не мужу!

Вдруг шаль заплатил четыре тысячи рублей!

– Да ведь она вам понравилась.

– Положим, что мне понравилась; но я ли платила деньги, вещь, которая стоит много тысячу рублей, а платишь четыре!

– А я почему знаю, что стоит.

– Зачем же ты берешься сам покупать?

– Ну, покупайте сами, выйдет все равно.

– Нет, не все равно; если б я сама располагала деньгами, я бы берегла их и не желала бы того, что не по состоянию.

– Да кто ж вам мешает располагать; мне легче. Возьмите и деньги на расход.

– Давай, это гораздо будет лучше.

Федор Петрович отпер бюро, выдвинул ящик с деньгами.

– А это что ж за деньги? – спросила Саломея Петровна.

– Это... взяты из Опекунского совета...

– Зачем это? давно ли ты взял?

– Да нужно было.

– Да я желаю знать; я уверена, что между нами нет тайн.

– Да батюшка ваш просил на короткое время займа.

– Папа? Прекрасно! Да он оберет тебя совсем! Папа! Не только мне приданого не отдал, да еще хочет меня обобрать!

Нет, этого не будет! Этого я не позволю!

– Да как же, Саломея Петровна, я обещал.

– Скажи, что деньги у меня; пусть ко мне обратится с

просьбой! Где билеты? Я их к себе спрячу: я вижу, что у тебя они недолго належат, придется идти по миру!

— Я билеты отдам; а уж эти, ей-богу, Саломея Петровна, надо дать батюшке: он очень нуждается, говорит, что опишут все имение, если не отдаст долгу; уж куда ни шли пятьдесят тысяч.

— Пятьдесят тысяч! Что ты это! Никогда! Прожил свое состояние, да за мое хочет приняться! Никогда этого не будет!

И с этими словами Саломея Петровна взяла пук ассигнаций и билеты и вышла из кабинета.

— Этот дурак кожу снять с себя позволит на заплату чужого кафтана! — говорила она, запирая деньги и билеты в свое бюро.

Этим день кончился; новый день Саломеи Петровны начался заботой о туалете. В одиннадцать часов она была уже в гостинной убрана очень пленительно. Предчувствуя, что Федор Петрович будет только мешать умной и интересной беседе ее с поэтом, она выживала его из дому. Он съездил за ее необходимостями, воротился, и хоть снова выдумывая необходимости; потому что Дмитрицкий еще не приезжал. Саломея Петровна успела найти еще поручение, но гость на двор, и он на двор. Можете себе представить ее досаду!

Дмитрицкий влетел в гостиную, не обращая внимания на приехавшего в одно время с ним и вместе вошедшего в гостиную.

— Федор Петрович, наш известный литератор, желал с на-

ми познакомиться, и я просила его сделать нам эту честь.

– Очень приятно, покорнейше прошу, – сказал Федор Петрович, всматриваясь в сабельку с рядом разных крестиков на груди Дмитрицкого.

– Да-с, я так много слышал от общего нашего знакомого об вас, что желал непременно познакомиться с вами, тем более что и вы служили в военной службе.

– Как же-с. А вы где изволили служить?

– На Кавказе, потом вышел в отставку *и* занимаюсь моим любимым искусством.

– Федор Петрович, – сказала Саломея Петровна, – ты бы приказал подать закуску.

– Сейчас, сию минуту, – отозвался Федор Петрович и вышел.

Дмитрицкий понял, что присутствие мужа тяготило Саломею Петровну, и не предвидел никакого удовольствия провести время между двумя супругами.

– Я хотел раньше быть к вам; но меня задержал странный случай... На свете, должно быть, очень много угнетенных нището́й.

– Что такое с вами случилось?

– На улице остановила меня девушка просьбой купить у нее разные женские рукоделья, ридикюли, снурочки и прочее. «Мне, милая моя, не нужно это». – «Купите, сделайте одолжение! – сказала она умоляющим голосом, – вы спасете от голоду целую семью нашу. Мы трудимся, работаем, чтоб

добыть кусок хлеба; но никто не покупает у нас, и хуже еще: дают такую цену, дороже которой стоит материал». — «Велико ваше семейство?» — спросил я. — «Матушка и четыре сестры». Чувство сожаления проникло меня, и я пожелал видеть это несчастное семейство. Я был там.

— И убедились в их бедности?

— О, очень. Без сострадания нельзя смотреть. Я отдал все, что имел с собою.

— Как вы великодушны!

— Это обязанность каждого человека; о, если б вы видели это семейство!

— Сейчас подадут, — сказал, входя, Федор Петрович.

Саломея Петровна вскочила, встретила его в дверях и сказала на ухо:

— Пожалуйста, не заводи разговора, извинись, что тебе надо ехать; а то он бог знает сколько просидит и меня задержит; а я собралась к Радужиным.

— Да вы поезжайте, а я с ним останусь; мне еще будет приятно провести время с военным человеком.

— Хорошо! — отвечала с досадой Саломея Петровна и вышла в залу.

Человек внес завтрак; Федор Петрович стал потчевать; Дмитрицкий выпил, закусил, и от нечего говорить стал расспрашивать Федора Петровича, где он служил, долго ли, счастливо ли, давно ли вышел в отставку; а между тем Саломея Петровна, проникнутая какой-то ревностью, что муж

отбивает у нее гостя, с которым ей так хотелось наговориться, душой которого хотела бы она пополнить, напоить свою душу, алчущую света ума и пламени сердца, стояла, ломая руки, в зале у окна и, казалось, искала и внутри и вне себя оружия, чтоб не только изгнать противника из гостиной, но даже согнать со двора.

– Столяр принес диванчик, который изволили заказывать, – сказал вошедший человек.

– А! где?... хорошо... вызови Федора Петровича: пусть он посмотрит и заплатит деньги, – сказала Саломея Петровна и пошла в гостиную.

– Федор Петрович, к тебе кто-то пришел.

– Сейчас! – отвечал Федор Петрович, занятый рассказом, – так вот-с, я сижу, вдруг входит в военном сюртуке... человек, рекомендует, говорит, что майор в отставке...

– Федор Петрович, там ждут тебя!

– Да вот я сейчас доскажу.

И Федор Петрович досказал проделку (мнимого майора и, наконец, извинившись, вышел в залу, где встретил его человек с извещением, что столяр принес диванчик.

– А мне то что! нешто я заказывал! Скажи барыне.

– Да барыня приказала вам сказать.

– Вот тебе раз! где?... Ну, пусть поставят в кабинет Саломеи Петровны, – сказал Федор Петрович и пошел обратно в гостиную.

Саломея Петровна воспользовалась и мгновением.

– Не можете ли вы доставить адрес этой несчастной фамилии, – сказала она Дмитрицкому по выходе мужа, – я хочу посетить ее и помочь, чем только могу.

– Адрес сегодня же доставлю вам чрез Михаила Памфиловича. Если вы намерены посетить их завтра, то я предупредю.

– Пожалуйста, я буду тотчас после обеда, часов в шесть. Вы уже едете?

– Сделайте одолжение, прошу покорнейше вперед, – сказал Федор Петрович, встретив гостя в дверях.

– С особенным удовольствием.

– Вам, Саломея Петровна, покойный диванчик привезли, – сказал Федор Петрович, проводя Дмитрицкого до передней.

– Знаю, – отвечала Саломея Петровна невнимательно.

На другой день... Но не угодно ли и читателю посетить бедное семейство, мать с четырьмя или пятью дочерьми, которые трудятся день и ночь и не могут выработать для себя необходимого.

Вот, на самой стрелке между двух главных улиц, стоит одноэтажный дряхлый домишко. На углу лавочка; с одной улицы ворота на двор и калитка.

К этому-то домику подъехал на другой день в шесть часов вечера Дмитрицкий и, приказав извозчику отъехать в сторону, вошел во двор; в сенях встретила его девушка.

– Ах, это вы? – сказала она.



– Это я, – отвечал Дмитрицкий, входя в комнату, где встретили его с распростертыми объятиями еще четыре девы, с восклицанием: «А! наш благодетель!»

– Здравствуйте, сударь! – сказала сидящая в другой комнате пожилая женщина.

– Это что! это что за роскошь! – вскричал Дмитрицкий, взглянув на дев. – Смойвай румяны! прочь наряды! А ты, матушка! что ты не смотришь за дочками! разве такая бедность бывает? Ну, хорошо, что я не запоздал! Да прошу у меня глядеть смиренницами!.. сидеть за работой! А вы, сударыня, Улита Роговна, насурмились? Это что за прическа?

– Это *урики*.

– Ну, ну, ну, прочь урики!

– Эх вы, благодетель! – сказала одна из девушек, которую Дмитрицкий очень неучтиво поторопил переодеваться в другую комнату.

– К чему наставили столько свечей? прочь! одной с вас довольно. Э-ге! совсем просмотрел было картинную галерею! Долой!

И Дмитрицкий сам сорвал с гвоздей разные картинки в рамках и побросал их под постель; стекла летели вдребезги.

– Что ж это вы все бьете! ведь это денег стоит! – сказала, разгневавшись, пожилая женщина.

– Помилуй, матушка, прилична ли здесь притча о блудном сыне! с ума ты сошла! Ай, ай, ай, трубки!.. Чу! кажется, приехала? встречай!

Маленькая новомодная колясочка на плоских рессорах, без задка и, следовательно, без человека, остановилась подле калитки. Дама вошла в калитку, ее встретила мать семейства на крыльце, а Дмитрицкий в дверях.

– Ах, и вы здесь? – сказала Саломея Петровна.

– Я хотел сам представить вам бедное семейство.

– Тем приятнее мне, что мы общим участием поддержим несчастных.

– Вот та несчастная женщина, которую кормят своими, трудами эти девушки, – сказал Дмитрицкий.

– Это все ваши дочки? – спросила Саломея Петровна, смотря в лорнет на девушек, которые встали и, потупив глаза, присели, – как труд истомил их! – продолжала она, – ах, бедные!.. Вы давно уже в Москве?

– Ах, давно, сударыня, ваше сиятельство, – отвечала с глубоким вздохом плачевным голосом мать пяти дочерей, отирая глаза платком. – Муж помер, оставил меня в бедности, кормись, как хочешь!..

– Вы найдете во мне помощь, милая; на первый раз... прошу принять.

– Позвольте поцеловать ручку! Благодарите!

Четыре из девушек бросились также к руке Саломеи Петровны; но одна, едва воздерживаясь от смеху, выбежала в другую комнату.

– Чего вы боитесь, миленькая? – сказал Дмитрицкий, кинув на нее грозный взгляд.

– Вот тебе раз! буду я руку целовать! – тихо проговорила девушка.

– Одна из них немного помешана, – сказал Дмитрицкий, склонясь к уху Саломеи Петровны.

– Ах, я думаю, они все близки к этому; на них страшно смотреть: какие бледные лица с впалыми щеками, какой «мутный» взор, губы синие... Это ужасно! – отвечала Саломея Петровна «тихо. – Но как здесь чисто, опрятно, – продолжала она, осматривая комнату и потом входя в другую.

– Позвольте вас, сударыня, хоть чайком попотчевать.

– В угождение тебе я выпью чашку, – сказала Саломея Петровна, садясь на стул и заводя разговор с Дмитрицким об отчаянных положениях, в которые люди могут впадать.

Между тем как старуха и девушки хлопотали о самоваре, бегали в лавочку, то за водой, то за сухарями, то за сливками, Саломея Петровна могла свободно вести с Дмитрицким разговор, никем не нарушаемый.

– Что страдания бедности, – говорит Дмитрицкий, – ничего! Эти люди живут все-таки посреди своих грязных привычек, сыты и счастливы; истинные несчастья не посреди этого класса людей, а в высшем сословии, посреди довольствия животного... там истинная бедность – бедность духа, и недостатки – недостаток сочувствия, недостаток любви.

– Ах, как вы знаете сердце человеческое! – сказала вне себя Саломея Петровна, – и этим недостаткам ничем нельзя помочь!

– Да, кто слаб душой, о, тот не вырвется из оков, в которые его могут бросить обстоятельства... Но знаете ли... я буду с вами откровенен, как ни с кем в мире... но, между нами.

Румянец довольствия пробежал по лицу Саломеи Петровны.

– О, верно, во всяком случае эта откровенность будет вознаграждена взаимной, – сказала она.

– Я искал любви и сочувствия; но отец и мать требовали, чтоб я женился на девушке по их расчетам – я женился...

– Вы женаты?

– Да, я женился; но у меня нет жены, ну, просто нет! Есть какое-то существо, которое ест, пьет, спит, ходя и лежа ничего не чувствует, ни об чем не мыслит; я уехал и изнываю без пристанища сердцу! Кто теперь достоин более сожаления – я или эти всепереваривающие желудки?...

– О, я вас понимаю! – произнесла Саломея Петровна, едва переводя дыхание и подавая руку Дмитрицкому, – я вас понимаю, и никто вас так не поймет!

– Как дорого это сочувствие! – сказал Дмитрицкий, прижав крепко руку Саломеи Петровны к устам.

– Ах, теперь я не в состоянии; но в следующий раз, когда мы увидимся, я открою вам и мои сокровенные тайны и мои страдания.

– У вас в доме наш разговор не может переходить в излишние откровенности, – сказал Дмитрицкий задумчиво.

– Ах, да! вы это поняли.

– Понял. Здесь, сочувствуя угнетенным несчастиями, мы можем сочувствовать и друг другу.

– Ах, это правда, – произнесла Саломея, вздохнув глубоко и остановив томный взор на Дмитрицком.

Допив чашку чаю, она встала.

– Завтра я посету вас опять; я позабочусь об вас. Не утомляйте себя, милые, трудами, отдохните.

Бросив прощальный взгляд на Дмитрицкого, она вышла.

– Фу! свалилась обуза с плеч! Ну, прощайте, и мне пора! – сказал Дмитрицкий потягиваясь.

– Конечно, чего ж еще более! – сказала горделиво отвергнувшая честь поцеловать руку Саломеи Петровны.

Дмитрицкий вышел.

## II

Дмитрицкий – разбитная голова; об этом и спору нет. Большая часть читателей, вероятно, уже догадались, для каких причин, пользуясь чувствами великодушия, про которые так много говорила Саломея, возбудил он в ней сострадание к несчастному семейству, погруженному, как говорится, в пучину бедности. Может быть, догадливые читатели полагают, что он, пленившись Саломеей, желал сам воспользоваться ее великодушием? Нисколько. С первого взгляду он ее возненавидел и, осмотрев с головы до ног, назвал полатыни зверем. Когда же она заговорила о великодушии, кото-

рое так свойственно человеку и которого ни в ком нет, разумеется, кроме ее, тогда, вы помните, он воскликнул: «Великодушные? о! это пища души! Я не знаю ничего лучше этого! я понимаю вас! Вы должны сочувствовать всему, сострадать о человечестве!» Саломея скромно отвечала: «Да, я очень чувствительна».

«Ах ты, великодушный, чувствительный демон!» – подумал Дмитрицкий.

– Скажите, пожалуйста, что за человек муж этой прекрасной дамы, с которой вы меня познакомили? – спросил Дмитрицкий у Михаила Памфиловича по окончании литературного вечера.

– Федор Петрович очень добрый, прекраснейший человек, – отвечал Михайло Памфилович, – он из военных.

– Неужели? открыто живет?

– О, как же!

– Она меня звала завтра к себе, да людей моих нет; а мне нельзя же свиньей явиться в гостиную.

– Попробуйте, не впору ли будет мой фрак.

– В самом деле. Может быть, чуть-чуть узок; но ведь портные говорят, что все, что широко – ссядет, а что узко – раздастся.

– Поедемте вместе.

– Вместе? нельзя: мне надо завтра сделать несколько визитов, и потому не могу определить именно время, когда попаду к ней.

- Будете у кого-нибудь из здешних литераторов?
- Разумеется.
- Вы знакомы с Загоскиным<sup>54</sup>?
- Вчера только первый раз видел его у вас.
- Ах, нет, вы ошиблись, – сказал Михайло Памфилович покраснев, – он обещал быть, но не был.
- А кто ж это такой из известных литераторов московских был у вас, причесан а ла мужик, и все читал стихи о демоне?
- Ах, это Зет; это его поэтическая фамилия, он подписывает Z под стихами своими. Как понравились вам стихи его? Я хочу их поместить в альманахе, который издаю.
- Не дурны, очень не дурны.
- Не правда ли», что много огня?
- Тьма! да и нельзя: демон без огня – черт ли в нем.
- Я хочу обратиться и к вам с моей просьбой; я уверен, что вы не откажете украсить своим именем мой альманах: все литераторы участвуют в нем... что-нибудь, хоть маленькую повесть.
- Пожалуй, пожалуй, извольте; какую вам угодно повесть?
- Да какую-нибудь.
- Нет, для чего же какую-нибудь, вы просто скажите, какую вам хочется?
- Что-нибудь в русском духе.
- Пожалуй, с величайшим удовольствием, отчего ж не со-

---

<sup>54</sup> Загоскин М. Н. (1789–1852) – известный русский писатель, автор популярного в свое время романа «Юрий Милославский».

чинить.

– Какие условия угодно вам будет назначить? Я на все согласен.

– Какие условия?

– С листа ли угодно будет назначить цену, или за все сочинение?

– Разумеется, за все. Загоскин, кажется, взял за роман соток тысяч.

Михайло Памфилович побледнел.

– Ведь это роман, – сказал он.

– Да, я роман вам и напишу.

– Ах, нет, в альманахах нельзя поместить романа: какую-нибудь маленькую повесть... листа в три печатных.

– Ну, за повесть можно взять дешевле, за повесть можно взять половину.

– Нет, уж, сделайте одолжение, по листам; мне иначе нельзя.

– Вы что ж полагаете за лист?

– Двести рублей.

– Только? Двести рублей за целый лист кругом? Вы думаете, что легко исписать целый лист? Да я не возьму тысячи рублей.

– Как это можно, я не могу столько заплатить.

– Вы не можете? Позвольте не верить! Составляет ли это счет для вас! Неужели вы перебиваетесь?

Самолюбие Михаила Памфиловича затронулось словом



*перебивается*; он ужасно боялся, чтоб про него не только не сказали, но и не подумали, что он бедный человек.

– Помилуйте, – отвечал он с выражением, что ему нипочем деньги, – я не потому говорю, чтоб мне составляло это какой-нибудь особенный счет, но...

– Ну, вот видите ли, – прервал Дмитрицкий, – я уверен, что вы сам не решитесь иначе за перо взяться. Не правда ли?

Если б Михайло Памфилович был уже сам лично сочинитель и если б он поместил уже какую-нибудь статейку в какой-нибудь ежемесячник, то, верно бы, подумал с значительной улыбкой: «Да, я – это дело другое»; но он только еще писал разные проекты и мнения об разных улучшениях по разным частям человеколюбия, писал, как пишут великие люди», поручая писать за себя людям, умеющим писать и знающим дело. Проекты эти он читал сперва своему родителю, удивлял его всеобъемлющим умом своим и брал с него деньги на переписку проектов отличной рукой для представления высшему начальству.

– Помилуй, братец, – говорил родитель его, – неужели ты платишь за переписку так дорого?

– Да как же, папенька, ведь этого нельзя поручить какому-нибудь писарю; мне переписывает чиновник.

– А, это другое дело, – говорил папенька и выдавал ему на переписку какой-нибудь тетради ту сумму, за которую сочинялся проект, например, о том, как искоренить нищих.

Написав проект, Михайло Памфилович давал обед, при-

глашал всех своих сослуживцев и всех сочленов и читал проект. За прекрасный обед и предварительные угощения все находили проект вообще очень замечательным; но в частях один советовал то исправить, другой – другое, третий – третье; а Михайло Памфилович находил, что замечания каждого очень справедливы, что проект действительно по мнению одного должно исправить, по мнению другого пополнить, по мнению третьего сократить, по мнению четвертого пояснить и распространить. Но свести эти мнения было гораздо труднее, нежели выдумать новый проект; и потому все проекты Михаила Памфиловича после обеда, данного сочленам, поступали в портфель для хранения.

Все это было причиной, что Михайло Памфилович умел ценить чужие сочинения и был необыкновенно как доволен замечанием известного петербургского литератора, который, будучи известным литератором, взял его в сравнение с собою.

– Я ничего еще не издал в свет, – отвечал он скромно, – я писал по большей части проекты и мнения, которые, я уверен, пойдут в ход, особенно проект о распространении просвещения во всех сословиях народа.

– О, я понял тотчас, что вы государственный человек: проект о распространении просвещения во всех сословиях – это не шутка! это все равно, что одно сословие вылечить от куриной слепоты, другому снять с глаз катаракты, третьему спустить темную воду, и так далее, – это не шутка! Так мы дело

кончили?

– Я согласен; по напечатании книги я немедленно вам доставлю, что будет следовать.

– Э, нет, лучше вперед; так я уж и присяду.

– Мне, впрочем, все равно; но теперь у меня налицо нет столько денег; покуда позвольте отдать половину.

– Хорошо; повесть в четыре листа; так четыре тысячи.

– Нет, не более двух листов; потому что уж и так альманах слишком велик.

– Полноте, пожалуйста! Книга чем толще, тем лучше; это известное дело. Так четыре тысячи.

Михаил Памфилович не умел отговориться.

На другой день он объявил отцу, что купил для своего альманаха у петербургского известного литератора чудесную повесть за пять тысяч рублей, и что ему тотчас же надо заплатить.

– Помилуй, Миша, что ты это, с ума сошел? За повесть пять тысяч рублей! да ты меня разорил совсем!

– Что за дорого, папенька; вы знаете, что значит имя известного литератора; я напечатаю тысячу двести экземпляров, по десяти рублей – вот вам и двенадцать тысяч; да я еще думаю напечатать два завода – их тотчас расхватают; а это составит двадцать четыре тысячи!

– Ой? Правда ли?

– Ей-богу!

– То-то, брат, в таком случае пять тысяч не брошенные

деньги; да у меня теперь налицо только и есть, что три тысячи; разве билет Опекунского совета.

— Это все равно.

Получив деньги-, Дмитрицкий, как вы помните, отправился обозревать Москву в наемном фаэтоне, распорядился богатой экипировкой в магазине готового платья на Тверской, завился на великой фабрике париков, расспросил извозчика кое о чем, съездил кое-куда и познакомился с семейством, погруженным в бездну нищеты, и наконец, часу в третьем, прибыл, как вы помните, с визитом к Саломее Петровне.

Супруг ее, Федор Петрович, ему очень понравился.

«Эх, брат, черт тебя женил на Саломее Петровне, — думал он, слушая рассказы его про службу, — я готов прозакладывать голову, что ты с удовольствием проиграл бы мне в банчик тысяч десятков, если б не помешала жена. Худо, брат, сделал, что женился. Жаль! Эта баба изведет тебя, так изведет, что умирать нечему будет... Нет, друг, уж извини, я этого сносить не могу! Я ее приберу к рукам, я ее вышколою!...»

Эти мысли прервала приходом своим Саломея Петровна, и вы помните, как и куда направил он ее благодетельное, великодушное сердце. После первого свидания с ней у несчастной матери, имеющей на руках пять дочерей, Дмитрицкий имел второе свидание. На втором свидании назначено было третье; но уже не у несчастного семейства. Отправляясь домой, Дмитрицкий был вне себя от досады.

«Негодная бабенка! – говорил он, – ну, глуп, брат, ты, Федор Петрович! иметь такой капитал и положить его вместо Опекунского совета в Саломею Петровну! Лучше бы поставить на карту, по крайней мере риск благородное дело; а то черт знает что: Саломея Петровна!.. Нет, душа моя, Саломея Петровна, этого я не перенесу; это просто бесит меня, взбунтовало всю желчь!.. Извини, тебя поздно учить, а надо проучить! едем со мной, едем, непременно едем!.. В Москве нам делать нечего, я тебя прокачу на юг... Там, радость моя, чудо что за природа: какие там дыни-мелоны, что за виноград, роскошь!.. Скажи, пожалуйста! В полгода от двухсот пятидесяти тысяч не осталось и половины. Каково? Дурак, Федор Петрович! в остальные полгода она похерит и остальные! Нет, мечта! не позволим!.. Денег Федору Петровичу, так или иначе, а уж не видать в своем кармане; но по крайней мере у него останутся души в целости. Едем, Саломея Петровна, едем!»

Рассуждая таким образом, Дмитрицкий распорядился насчет дорожного дормеза<sup>55</sup>, найма лошадей, а, главное, верного и надежного человека, непременно из иностранцев.

– Вы уезжаете? – спросил его Михайло Памфилович.

– Да, мне давно пора ехать, насилу дождался моего камердинера с экипажем. Повесть вы получите в скором времени по почте.

Распростившись с Михаилом Памфиловичем, Дмитриц-

---

<sup>55</sup> Спальная карета (*франц.*).

кий, подобно Федору Петровичу, в один прекрасный вечер подъехал к галицынской галерее, подал у подъезда руку какой-то даме в вуали, посадил ее в карету, сел сам и – наши поехали.

– Не забыла ли ты, душа моя, подорожную? – спросил он прежде всего у дамы.

– О нет, я ничего не забыла.

– И сердце, полное любовью, с тобой?

– О, вот оно, вот! чувствуешь, как бьется?

«Худо уложено, возлюбленная моя! – подумал Дмитрицкий, – в дорогу должно так укладывать все, чтоб не билось».

На заставе записали подорожную: Федор Петрович Яликов, с супругой, в свое поместье.

### III

До сих пор мы познакомились с сносными людьми; теперь познакомимся с несносным человеком – с жилой. Знаете ли вы людей, которых называют жилами. В самом зарождении своем это полипы в человеческой форме. Только что выключнутся из яйца, мозглявые с виду, как сморчки, они уже тянут жилы неестественным своим криком; спокойны только тогда, когда сосут грудь, сосут досуха. Глаза и руки у них тянутся ко всему, все подай или беги от крику. Избави бог быть братом или сестрой жилы, не приведи бог быть товарищем и сослуживцем жилы, отклони бог всякую быть женой жилы

и всякого быть детищем жилы.

Из этого числа людей был Филипп Савич, помещик Киевской губернии. Имея самую слабую и хилую комплекцию, он выжилил, наконец, себе тучное здоровье; не имея в себе ничего, что бы могло нравиться женщине, он выжилил любовь, не имея состояния, выжилил жену с состоянием. Когда нечего ему было жить, душа его наполнялась каким-то беспокойством, озлоблением, и тогда он привязывался к жене, детям, к людям и жил спокойствие всех домашних. Но наконец, по каким-то актам, он привязался к соседскому имению и посреди удачи тяжёлых забот оставил в покое жену, детей и домочадцев; и была в доме тишина ненарушимая и всему воля. Стали даже завидовать счастью Любови Яковлевны, несмотря на то, что по болезненному состоянию здоровья она была уже сидень. Она одна, своим умом и сердцем, заботилась и о детях.

Естественные и, следовательно, законные гувернеры и гувернантки – сами родители; исключая, разумеется, случаи неизбежной необходимости замещения – смерть и болезни; но к числу болезней приписались и лень, и беззаботность, и навык к безделью, и привычка загребать жар чужими руками, и, наконец, приятность застраховать себя тысячи за две, за три в год от труда воспитывать детей и наблюдать за их телом и душой.

Следуя потребностям времени, Филипп Савич для французского языка принял на хлебы мадам Воже, старую фран-

цуженку, болтовню, современницу того времени, когда во Франции все *загуляло*, перепилось, передралось и все перебило<sup>56</sup>. От ужасов вакханалий она эмигрировала; но впечатления ее сосредоточены были на счастливом времени первого разгула.

Мадам Воже также вкусила от сладости плода, внушающего побуждение любить, и несмотря на то, что прибыла в Русь, что называется, уже под исход дня и приняла на свое попечение Георгия, не более как двенадцатилетнего мальчика, она восчувствовала к нему особенную нежность и стала откармливать для себя сладкой пищей. Присоветовав Филиппу Савичу учить и воспитывать сына дома, она угодила этим чувству матери, которая, как и все, не любила мысли о разлуке с единственным и любимым сыном. Приняв все заботы об управлении воспитанием Георгия на себя, мадам Воже постепенно распаляла воображение юноши понятиями о какой-то любви и неге. Холодный отец не умел ласкать, болезненная Любовь Яковлевна любила сына, но в ней чувство нежности давно завяло; и потому нежность и ласки мадам Воже, передаваемые вместе с французским языком, для него были соблазнительны.

Отец и мать считали Георгия ребенком; но мадам Воже развивала в нем чувства возмужалости, льстила самолюбию

---

<sup>56</sup> Автор имеет в виду время французской буржуазной революции 1789–1794 годов. Он характеризует эту эпоху в выражениях, свидетельствующих о его резко отрицательном отношении к ней.



юноши, и между тем искусственным образом час от часу молодеда и снова принялась за образование своей немного распущенной талии посредством корсета.

Когда Георгий вступил в возраст юноши, мадам Воже приступила к последнему курсу; он хорошо уже говорил по-французски; но еще не знал разговора о любви.

Сначала, лаская его страстно, она говорила:

– Вот как должна тебя любить мать!

Приобретя материнское право целовать его, она говорила ему:

– О, как ты пламенен, сколько в тебе нежности! Знаешь ли ты, что я сама любима в первый раз так, как ты меня любишь!

И она отирала глаза платком и жаловалась на судьбу, что первая ее молодость погибла в бурях и неведении истинной любви.

– У меня не было друга; будь ты моим другом, но втайне, чтоб никто не позавидовал моему счастью.

Эта высокая оценка чувств юноши и вызов на таинственную дружбу приятно возмутили наклонную к мечтательности душу Георгия. Не понимая еще вопиющего неравенства лет, он видел в этой дружбе сочувствие душ.

Возбуждая в молодом сердце Георгия жажду любви, пожилая фея превращалась в источник и выжидала минуты, когда юноша бросится в него утолить палящую внутренность. Это желание было уже в ней непреодолимой страстью.

Когда, в пылу своих замыслов, она думала, что уже время

заменить нежность дружбы и ласки нежностью любви и порывами страсти, Георгий, как испуганный, не знал куда бежать от нее.

Природу можно обмануть только один раз. Этого не рассчитала мадам Воже. Она сначала думала, что только девственная скромность заставляет юношу убегать от нее. Нежными и томными взорами покоренной невинности смотрела она на Георгия, как на победителя, и, казалось, говорила: «Я – твоя!»

– О, как ты хорош, мой Георгий! – произнесла она однажды, тихо склонясь на плечо Георгия. – Георгий, взгляни на меня! – прибавила она, взяв его за руку, – улыбнись мне... о, как ты очарователен!

Она хотела обвить его рукою; но Георгий вспыхнул, оттолкнул руку, вскочил с места и вышел вон.

Это было первое невнимание к словам воспитательницы и первая дерзость, оказанная ей учеником; но она перенесла ее, пошла вслед за ним, зовет его к себе. Георгий как будто не слышит.

– Это что значит, Георгий? За мои попечения, за мою любовь ты огорчаешь меня?

Георгий проходит мимо.

– Георгий, ты меня терзаешь! Ты приводишь меня в отчаяние!

Георгий вырвал руку, которую она схватила, чтоб удержать его.

– Ах, умираю! – вскричала она, наконец, – Георгий, я умираю! доведи меня...

Но Георгий уже ушел.

Все эти сцены происходят, как говорится, под носом отца и матери и всего дома; но никто не знает об них.

Мадам Воже в отчаянии, не понимает причины внезапной перемены в Георгии, хочет принять тон строгой воспитательницы; но боится, что раздраженный молодой человек откроет ее замыслы отцу и матери.

«О, тут есть какие-нибудь посторонние причины! – думает она, – он так был очарован, так любил меня!»

И мадам Воже начинает замечать за Георгием. Одна старая девушка, Юлия Павловна, подруга молодых лет Любови Яковлевны, часто бывая в доме, более всего наводит подозрение мадам Воже.

– О, недаром эта нежность к Георгию и поцелуи... она целует его как ребенка!.. А между тем этот ребенок очень понимает, что такое значат поцелуи... и я так была глупа, что меня провел молокосос!..

В понятиях мадам Воже Георгий представлялся самым утонченным демоном соблазна.

Решив таким образом, мадам Воже вспыхнула ревностью к Юлии Павловне, которая все-таки была двадцатью годами моложе ее.

Когда Юлия Павловна приходила в гости или гостила, мадам Воже тайно следила за каждым шагом Георгия, наблю-

дала взоры его, прислушивалась к разговорам; право Юлии Павловны ласкать Георгия давно уже сердило мадам Воже, и она всегда говорила ему, что неприлично позволять себя целовать девушке, что он уже не ребенок. Это было причиною, что Георгий, чтоб избежать ласк Юлии Павловны, избегал самой ее. Но когда, напротив, по собственному чувству отвращения, он стал избегать мадам Воже, тогда как будто назло ей он рад был присутствию Юлии Павловны и почти не отходил от нее; то предлагал мотать ей шерсть, то предлагал читать ей книгу, то звал ее играть с собой в пикет.

Подобные небольшие перемены погоды в отношениях между обычными членами семейства никому не заметны, потому что на них не обращает никто внимания. Нет опасения, нет и стражи. Никто в доме, так сказать, и не чувствовал уклонения четырнадцатилетнего Георгия от ласки Юлии Павловны; только она несколько заметила, потому что это до нее касалось и потому что она любила детей подруги своей молодости, с которой некогда, мечтая о замужестве и о будущем, условились – если бог даст детей – породниться. Оставшись навек заштатной девой, она любила Георгия, как жениха воображаемой своей дочери.

Часто в беседах с Любовью Яковлевной она вдруг проследит и начинает жаловаться на свою судьбу, что Виктор Андреевич (предмет ее первой и последней любви) непременно женился бы на ней, если б ее папенька принимал его ласково в дом.

– Пришла же охота горевать бог знает о чем! – говорила ей всегда Любовь Яковлевна.

– Да, хорошо тебе, как ты замужем! – всегда отвечала с укором Юлия Павловна.

– Что ж, счастлива ли я?

– Ты хоть чем-нибудь счастлива; у тебя дети; какое же еще нужно счастье?

– Какое? – произносила вздыхая Любовь Яковлевна, – э-хе-хе! не знаешь ты горя... так надо его выкопать из-под спуду; да добро бы это верно было, что Виктор Андреевич женился бы на тебе; а то, бог знает, и думал ли он.

– Нет уж, очень думал! – возражало обиженное самолюбие Юлии Павловны. – Я знаю, что думал; охота бы ему набиваться на знакомство в доме: и лучше бы нашего дома нашел, да не хотел; стало быть, было намерение. Да и я, как будто такая еще дура была, что не могла понять намерения человека!.. Вольно ж было папеньке отучить его от дому!.. Это ужасно!.. Потому что молодой человек, так и никакого внимания не должно оказывать!.. Только и компании что старики!.. Поневоле останешься в девках!..

– Правда, что отец твой очень мало в этом случае был расчетлив.

– Да как же, у меня бы теперь непременно была дочь, Людмила... Невеста твоему Георгию... Помнишь, ты сказала: «У меня непременно будет первый ребенок – сын Георгий». Ты сдержала свое слово; а я...

Тут Юлия Павловна принималась проливать слезы. Вот история ее отношений и ласк к Георгию.

Когда после долговременного невнимания Георгий вдруг стал садиться подле Юлии Павловны, разговаривать с ней, ходить по саду, прислуживать и, словом, находить около нее приют от преследований мадам Боже, тогда в мадам Воже заговорило чувство иступленной ревности. А Юлия Павловна, замечая, что Георгий угождает ей, почти не обходит от нее, вообразила, что он в нее влюбился.

«Ах, боже мой, – думала она, – неужели в нем так рано развилось чувство любви?»

Надо заметить, что Юлия Павловна провела свою молодость с старым суровым отцом, и сроду не случилось ей испытать на себе, как любят мужчины и как волочутся за девишкой; рассказы и женские *поверья* не составляют опытности. Она была вполне невинна и душой и телом; но часто мысль о любви тревожила, томила ее, как жажда; ей хотелось любить. Внезапное внимание Георгия и желание его быть с нею поразило ее своею новостью, тем более что в продолжение двух лет равнодушия он вырос и далеко ушел от того Георгия, которого она на четырнадцатом году возраста миловала еще как ребенка.

«Боже мой, боже мой! – думала она, – это удивительно! Каким же это образом вдруг такой неожиданный переворот?... Он только и находит удовольствия что быть со мною... Кажется, мадам Воже это заметила... она так стран-

но смотрит, улыбается, когда застанет Георгия со мною; а он поминутно краснеет... Теперь только начинаю я все припоми-  
нать... он, верно, давно влюблен в меня, и скрывал, бо-  
ялся, чтоб не заметили этого, и убегал от меня?... Точно!..  
припоминаю; он вдруг переменялся ко мне... я этого тогда  
не поняла... но, наконец, страсть развилась в нем... Бедный  
Георгий!.. Ах, это предназначение! сердце его ищет во мне  
Людмилу... Когда он смотрит на меня, мне кажется, что гла-  
за его говорят: подай мне дочь свою, мою суженую Людмилу,  
или я влюблюсь в тебя!..

Чем более Юлия Павловна думала, тем более убеждалась,  
что Георгий влюблен в нее, и ей стало страшно.

После этого открытия при первой встрече с Георгием она  
вспыхнула, не знала что говорить, чувствовала неловкость,  
боялась с ним остаться наедине, краснела, когда мадам Во-  
же входила в комнату, и, наконец, не зная, как скрыть свое  
смущение, ушла домой, жалуясь на головную боль.

Постоянно веселое расположение духа Юлии Павловны  
вдруг исчезло. Бывало, с восстанием от сна до сна грядущего  
она языка не положит, всех в городе обойдет рундом<sup>57</sup>, спра-  
вится о здоровье и о делах каждого, изведает всю подногот-  
ную, кто как думает, что говорит, что все думают и говорят  
об этом, и как бы она думала, словом, соберет преинтерес-  
ную журнальную статью и издает ее изустно в свет. Несмотря  
на строгий критический взгляд на предметы, ее все любили,

---

<sup>57</sup> Рунд (нем.) – военная поверка караулов.

особенно Любовь Яковлевна, и по старой дружбе и по удовольствию разделять с ней свое время.

Состояние ее заключалось в оставшемся после отца небольшом домике, который она отдавала внаймы, занимая сама мезонин; небольшого дохода с дома ей было очень достаточно, тем более что она, можно сказать, постоянно жила у Любови Яковлевны; Любовь Яковлевна не могла без нее дня провести.

Когда роковая тайна сердца Георгия заставила Юлию Павловну уйти домой, друг ее перед вечером прислала к ней проведать о здоровье и просить к себе; но Юлия Павловна как изнеможенная лежала уже в постели; ее пожирали сладостные и горестные думы о любви Георгия.

Старушка Ивановна ужасно как надоела ей, — не дает ни минуты уединения, все пристаёт, чтоб она выпила хоть чашечку липового цвету.

— Да выкушайте, барышня, пропотеете немножко, и все пройдет. Уж я вижу, что у вас лихорадка, верно простудились как-нибудь; вчера ввечеру сыренько было, а вы, верно, в саду чай пили. Да выкушайте же, барышня! как рукой снимет; а то — избави бог — привяжется...

— Да отстань, Ивановна! Сказала, что не буду пить! Дай мне спокойно полежать, поди себе!

— То-то и есть, что вы упрямы стали, а уж это худой знак! Чтоб отделаться от Ивановны, Юлия Павловна должна была притвориться спящею; но она забылась только перед светом.



Сон ее был страшен: ей снилось, что снова отец и мать лелеют ее юность, и она не отходит от зеркала, все любит на красоту свою и наряд невесты. Вдруг является молодой человек, ее жених – это Георгий, она хочет подойти к нему, но отец, в образе мадам Воже, говорит вдруг: «Позвольте! что это значит? извольте садиться по углам!» Бедная Юлия садится в угол, со слезами украдкой смотрит на сидящего в другом углу Георгия и терзается всеми мучениями страшной разлуки. Но мать сжалилась над дочерью, и в то время, как отец отвернулся, берет руки Юлии и Георгия и соединяет их. «Позвольте, это что такое?» – восклицает отец. – «Молодые», – отвечает мать. «А, это дело другое», – говорит отец и предлагает Георгию понюхать табачку. Георгий отказывается, уверяет, что не нюхает; но Юлия Павловна шепчет ему: «Понюхай, друг мой, не отказывайся, а не то папенька рассердится и выживет тебя из дому!» Георгий нюхает. «Вот люблю, – говорит отец, – люблю покорность! Если есть нос, отчего ж не понюхать, особенно когда старшие предлагают». Между тем собираются со всех сторон гости и поздравляют Юлию Павловну с счастливым вступлением в брак; начинаются танцы с котильона; молодые танцуют вместе и в то же время поминутно выбирают друг друга. Юлия Павловна счастлива, носится по воздуху. Георгий то и дело подходит ее ангажировать. После танцев наступает внезапно ночь. Юлия Павловна боится потерять Георгия, крепко держит его в объятиях и с нетерпением ждет рассвета. Вот рассветает,

рас-свело; Юлия Павловна смотрит – на руках у нее не Георгий, но прелестная девушка, совершенное подобие Георгия, точно как Георгий, переодетый в женское платье.

– Ах, боже мой, я тебя не узнала! – говорит Юлия Павловна, целуя девушку.

– Неужели, маменька, не узнали? свою Людмилу не узнали?

– Людмила! – с содроганием повторяет Юлия Павловна, – а где же Георгий?

– Он дома, я сейчас была у Любови Яковлевн.

– Вы виделись? – вскрикивает Юлия Павловна.

– Виделись.

– О, боже мой, что я сделала! зачем я дала клятву Любеньке утвердить нашу дружбу союзом Людмилы с Георгием!.. Нет, этого не может быть!..

– Как, маменька, вы сами желали...

– Нет, нет, нет! этого не может быть!

– Да почему же, маменька? Я умру, – сказала Людмила, залившись слезами.

– Лучше умри! Этого не может быть!

– Да почему же? маменька, душенька!

– Это тайна, страшная тайна!

И Юлия Павловна, всплеснув руками, бежит к Любови Яковлевне; Людмила бежит вслед за нею... Вот прибежали в дом. Любовь Яковлевна и Георгий бегут навстречу им. Георгий бросается в объятия Людмилы, а Любовь Яковлевна

обнимает, целует без памяти Юлию Павловну.

– Пусти, пусти меня, а не согласна! этого не может быть! – кричит Юлия Павловна, вырываясь из объятий, но не в силах вырваться; Любовь Яковлевна оковала ее руками; а между тем Георгий целует, обнимает Людмилу.

– О, пусти, союз их не может состояться... Прочь, Георгий, от Людмилы!

– Как прочь! – говорит Любовь Яковлевна, – это почему, а клятва?

– Этого не может быть!

– Почему не может быть?

– Это страшная тайна! пусти меня! они уйдут! они уходят! Георгий! Георгий! Людмила – дочь твоя!.. Они ушли! О, я погибла!

Юлия Павловна вырвалась из объятий Любви Яковлевны, хочет бежать за Георгием и Людмилой; но ноги ей не служат, и она падает на колени перед матерью Георгия и умоляет догнать его, вырвать из объятий Людмилы.

– Догони, догони! – повторяет она, ползая на коленях перед нею, – я тебе все открою: твой Георгий – муж мой, Людмила – дочь его!..

– Матушка, барышня, что с тобой? – кричит Ивановна, вбегая в комнату Юлии Павловны и обхватив ее руками.

– О, пусти, я сама умру; только догони их, догони! – повторяет в бреду Юлия Павловна.

Ивановна плачет над ней.

– Говорила я, чтоб выпить липового цветцу!.. Вот и горячка! Барышня! голубушка!

Юлия Павловна вздохнула, очнулась; холодный пот покапал по лицу ее, мутный взор ходит кругом.

– Что с тобой, барышня?... Вот, в озноб теперь кинуло!.. Юлия Павловна зарыдала.

Утолив безотчетное свое горе слезами, она поуспокоилась; и наконец, после долгой думы, взор ее просветлел.

«Какие пустяки забрала я себе в голову, – думала она, увлекаемая желанием по привычке отправиться к Любови Яковлевне, – право, сама не знаю, чего я испугалась; ну что за беда, что ребенок любит меня... я сама его так люблю, как своего родного сына... Я уверена, что ему надоела эта мадам Воже с своим французским языком... Только и разговоров что про грамматику! Не удивительно, что он стал бегать от этой грамматики; со мной все-таки о чем-нибудь можно поговорить. Молодому человеку необходимо рассеяние».

Поток этих успокоительных мыслей остановлен был присылкою от Любови Яковлевны узнать о здоровье и просить к себе. Человек вошел так неожиданно и так крикнул, что Юлия Павловна вздрогнула с испугом, и в ней задрожали все жилки.

– Не могу, не могу, – проговорила она, – кланяйся Любови Яковлевне.

Человек ушел; а Юлия Павловна, успокоясь, подумала; «Для чего ж это я наклепала на себя лихорадку?... Смех ка-

кой! испугалась человека! я пойду».

И она, полная мыслей о глупости, которая пришла ей в голову, надела, не замечая того сама, новенькое платье с шитой пелериночкой и, стоя перед зеркалом, десять раз передельывала прическу волос.

Вдруг входит Георгий.

Юлия Павловна так и обмерла, завитые локоны распустились от страху.

– Ах, Юлия Павловна, – сказал Георгий, целуя по обычаю ее ручку, – а мы думали, что вы в постели!

– Да, я очень нездорова, Георгий, – проговорила Юлия Павловна, взволнованная новою неожиданностью.

И она не могла закончить, села, держась за руку Георгия; Георгий сел подле нее.

– Слабость такая... всего пугаюсь... Я не знаю, что со мной делается.

И Юлия Павловна заплакала; Георгий придержал ей голову, которая клонилась и наконец припала на плечо юноши.

– Что с вами, Юлия Павловна? – сказал он с чувством. Юлия Павловна еще сильнее зарыдала.

Любовь Яковлевна, рассердясь на человека, который возвратился от Юлии Павловны и не мог сказать, чем она больна, хотела посылать его в другой раз.

– Позвольте, я сам схожу, маменька, – вызвался Георгий и побежал к Юлии Павловне.

Это слышала мадам Воже. В ней страшно уже кипело чув-

ство ревности. Подозревая условленное свидание, она не вытерпела.

– Бедной Юлий Павловна больна, очень больна, – сказала она, – и я пойду сама к ней.

– Сходите навестите ее, мадам Воже.

Мадам Воже хотелось застать любовников врасплох; то-ропливо дошла она до дому Юлии Павловны, тихонько про-кралась в сени, на лестницу, приотворила двери в перед-нюю – все тихо; подле, в кухоньке, никого нет – Ивановна ушла на базар.

Тихонько приотворила дверь в гостиную, пробирается на цыпочках, заглянула в спальню и вместе уборную – тишина. Но какая картина для нее: безмолвно сидит Георгий на ка-напе, к плечу его припала головою Юлия Павловна, глаза ее закрыты, она, казалось, сладко забылась после горьких слез, локоны ее распались, щеки горят, наряд совсем не говорит в пользу болезни.

– Bravo, bravo, Юлий Павловна, у вас прекрасной бо-лезнь! – вскричала мадам Воже, вбежав в комнату с злобной радостью. – Мосьё доктёр у вас очень хорошей, очень хоро-шей!

Это был третий внезапный приход для Юлии Павловны; она вскрикнула и упала без памяти.

– Вы испугали ее! – вскричал Георгий, бросившись помо-гать Юлии Павловне.

- Monsieur le docteur<sup>58</sup>, извольте идти домой! – сказала мадам Воже гордо, указывая Георгию двери.
- Что? – проговорил Георгий с презрением.
- Monsieur George<sup>59</sup>, я вам приказываю!
- Прочь! – крикнул Георгий, оттолкнув мадам Воже, которая схватила его за руку.
- Дерзкой мальчишка! я пойду все рассказать отцу и матери!
- Иди, рассказывай, я сам все расскажу!.. все, дочиста!
- Георгий, извольте идти домой! – закричала во весь голос Воже. И она, как демон, иступленно, бросилась на беспамятную Юлию Павловну; но Георгий, обхватив ее, вытащил за двери, вытолкнул и припер их.
- Постой же, мальчишка! – вскричала мадам Воже, погрозив в дверь кулаком.
- Бегом побежала она домой, скрежеща зубами.
- Что вы бежите как сумасшедшая, мадам Воже? – спросил Филипп Савич, сидевший у открытого окна, видя ее бегущую мимо дому с разъяренным лицом.
- Я вам скажу, я вам скажу! – вскричала мадам Воже. «Что там такое? – подумал Филипп Савич, выходя навстречу в залу, – где ж она?»

В нетерпении узнать причину, он пошел через сени в комнату гувернантки, но раздавшиеся слова на крыльце остано-

---

<sup>58</sup> Господин доктор (*франц.*).

<sup>59</sup> Мосье Жорж (*франц.*).

вили его.

– Ах, старая чертовка, да ведь она околевает!

– Кто околевает? – спросил равнодушно Филипп Савич у бегущей в сени девки.

– Мадам, сударь, убилаь до смерти.

– Что-о? Какая мадам?

– Наша, сударь, убилаь до смерти! вон лежит у ворот.

Филипп Савич вышел на двор. В воротах лежала распостертая на земле мадам Воже без дыхания, с раскрытым лбом, пена бьет изо рта. Вся дворня и народ, собравшийся с улицы, стояли около нее.

– Что это с ней случилось? – спросил Филипп Савич.

– Прах ее знает, – отвечал один купец, – подхожу я к воротам вашего благородия, смотрю, бежит она, да что-то бормочет по-своему, да, словно слепая, как хватится в воротах об запер! так, как сноп, и свалилась: ни словечка не молвила!

– Какой запер?

– А что ворота запирают, – отвечал конюх, – вы изволили приказать пустить вороную по двору на травку; так, чтоб не ушла со двора, я и засунул запер, чем ворота-то совсем запирать.

– Дурак! для чего ты не запер ворота? – вскричал Филипп Савич.

– Да как же проходить-то, сударь; у калитки еще зимой петли сломались, так ее покуда заколотили, я докладывал тогда еще.



– Когда докладывал? врешь!

– Как же, сударь, раза три докладывал; а вы ничего не изволили сказать.

– Врешь!

Филипп Савич не любил выдавать деньги на разные требования своих людей, – он подозревал, что эти мошенники нарочно сломают да скажут – втридорога стоит починка, чтоб выгадать себе на вино. Посылать людей своих за кузнецами, плотниками, слесарями он также не любил, подозревая, что они сговорятся и обманут его. А потому он всегда ждал поры и времени, когда накопится в доме порчи и ломи, и тогда подряжал сам починку гуртом. За этот, с позволения сказать, скаредный расчет он платил за все не втридорога, а вдесятеро: потому что искру тушить не то что пожар.

Между тем как Филипп Савич спорил с кучером о петлях калитки, мадам Воже лежала на земле. Любовь Яковлевна и Георгий стояли также над ней с ужасом.

Наконец ее внесли в ее комнату, призвали медика, который застал ее уже в сильном бреду горячки; выпучив глаза, она лезла с постели и, уставив пальцы, как когти, скрежетала зубами. Она была страшна.

Георгий рассказал матери, как она напугала Юлию Павловну, и Любовь Яковлевна подтвердила его мнение, что болезнь в ней давно уже скрывалась и что она только в беспмятстве могла удариться о перекладину.

– Я ее дома лечить не намерен! – говорил Филипп Са-

вич? — черт с ней! пусть в больнице умирает.

— Помилуй, друг мой, за что ж мы бросим бедную женщину, которая у нас как своя в доме уже несколько лет, — говорила чувствительная Любовь Яковлевна.

— Вот тебе раз! я нанимал ее для того, чтоб учить детей, а она тут больная лежать будет!.. Мне что за дело, что она больна! Сама ты говорила, что у ней горячка поутру была; объелась, я думаю, чего-нибудь! Я видел сам, как она бежала с пеной у рта! Какая это горячка; она просто сошла с ума.

Убеждения Любви Яковлевны лечить больную дома не подействовали на Филиппа Савича; он отправил ее в Киев, в больницу. Чем она кончила свои похождения, умерла, больна по сию пору или выздоровела и отправилась в отчизну свою, Францию, бог с ней, не наше дело; она, как говорится по-турецки, пришла-ушла, а между тем это имело большое влияние на судьбу героев нашего сказания.

Так как для двенадцатилетней дочери Любви Яковлевны нужна была еще мадам, и еще такая мадам, которая бы, кроме французского языка, учила ее и на фортепьянах играть, а если можно, и петь, то Филипп Савич, отправляясь на контракты в Киев, решился, более по просьбе дочери, нежели матери ее, приискать сам потребную мадам, хотя он и считал французское воспитание, по польскому выражению, непотребным.

## IV

Обратимся теперь к нашей героине, которую, может быть, читатель успел уже невзлюбить и согрешил. Душа человека, как почва, которую можно не возделывать совсем, и тогда она будет технически называться *пустошью*; можно возделывать и засеять пшеницей и чем угодно. Урожай от бога, а без ухода и умения ухаживать добро прорастет чертовым зельем. К этой старой морали прибавим то, что человеку дан разум и право самому себя возделывать. Он и может себя возделывать, преобразовывать к лучшему. Но каково выхолотить из самого себя какое-нибудь чертово зелье, которое пустило корни во все изгибы сердца? И хочется вырвать, да смерть больно! А иной неверующий разум подумает: да к чему? будет ли от этого лучше, успею ли я выхолотить душу, возделывать снова, возрастить сладкий и здоровый плод и вкусить от него? Подумает, да так и оставит. Человеку нужно *добро*, как насущный хлеб. Не имея собственного добра, он непременно *заест* чужое добро. В пример ставим Дмитрицкого и Саломею Петровну, которые скачут теперь из Москвы, по мыслям Дмитрицкого в Киев, а по словам его покупать имение на чудных берегах Тавриды и там поселиться.

— О, мы будем вкушать там рай! — говорит Саломея Петровна, пламенно смотря ему в глаза.

— Как же! именно, радость моя; мы так будем счастливы, —

держит ответ Дмитрицкий. — Именно, радость моя, уж если жить — так жить! Однако что-то теперь поделявает твой муж?

— Ах, не напоминай мне о нем! — произносит Саломея Петровна с чувством. — Если б ты знал, какие ухищрения были употреблены, чтоб выдать меня за него замуж!

— Ах, это любопытно; расскажи, пожалуйста, — проговорил Дмитрицкий зевая.

— Я как будто предчувствовала, что мне суждено было встретиться с тобой, и, несмотря на все искания руки моей, я отказывала...

— А ты веришь предчувствиям?

— О, как же! а ты?

— О, без сомнения! я по предчувствию ехал в Москву.

— Неужели? по какому же?

— Во-первых, я торопился в Москву совершенно как будто влюбленный уже в тебя; мне казалось, что у меня ничего нет, кроме сладостной надежды встретить в Москве то, чего душа моя требует... И вот я нашел, что мне нужно было.

И Дмитрицкий приложил левую руку к шкатулке, а другою обнял Саломею.

— Это удивительно!

— Чрезвычайно!

Между тем наши путешественники приехали в Тулу. Дмитрицкий велел ехать в гостиницу.

— В трактир? — спросил ямщик.

– Ну, да!

– Ах, пожалуйста, найдем лучше квартиру! Как можно в трактире останавливаться, это отвратительно!

– Помилуй, что тут отвратительного; в гостиницах все проезжие останавливаются.

– Нет, нет, как это можно! неравно еще я встречу кого-нибудь из знакомых.

– Так что ж такое? тем лучше! пожелаешь им счастливого пути в Москву и велишь кланяться всем знакомым и извиниться, что уехала не простившись с ними.

– Ах, нет, я не могу перенести стыда!

– Это что такое? стыд со мной ехать? Этого я не знал! Если стыдно ехать со мной, так зачем и ехать.

Пррр! Карета остановилась подле гостиницы; наемный человек из иностранцев отворил дверцы.

– Этого я не знал! – продолжал Дмитрицкий, – так я избавлю вас от стыда ехать со мной.

И Дмитрицкий полез вон из кареты.

– Николай! – вскричала Саломея, схватив его за полу сюртука.

– Позвольте мне идти!

– Не сердись на меня! делай как хочешь, мой друг! помоги мне выйти из кареты.

– Вот это дело другое; я противоречий не умею переносить; так, так так! а не так, так – мне все нипочем: у меня уже такой характер.

– Ах, Николай, как ты вспылчив! – сказала Саломея, когда они вошли в номер гостиницы.

– От этого недостатка или, лучше сказать, излишества сердца я никак не могу отучить себя. У меня иногда бывают престранные капризы, какие-то требования самой природы, и если противоречить им, я готов все и вверх дном и вверх ногами поставить.

Дмитрицкий приказал подать обедать и, между прочим, бутылку шампанского.

– Мы, душа моя, сами будем пить за свое здоровье; это гораздо будет лучше; ты знаешь, как люди желают? На языке: «желаю вам счастья», а на душе: «чтобы черт вас взял». Мы сами себе пожелаем счастья от чистого сердца, не правда ли?

– О, конечно!

– Ну, чокнемся и поцелуемся; ты – моя надежда, а я – твой друг!

– За твое здоровье, ты мои желания знаешь.

– Что ж, только-то? прихлебнула?

– Я не могу пить, Николай.

– Хм! Это худая примета! – сухо сказал Дмитрицкий.

– Ты сердишься, ну, я выпью, выпью!

– Вот люблю! – сказал Дмитрицкий. – Для взаимности, душа моя, необходимо иметь одни привычки.

После обеда Дмитрицкий вышел в бильярдную. Бильярд был второклассным его развлечением; за неимением партии застольной, он любил испытать свое счастье с кием в руках,

а иногда играл так, для разнообразия, и даже для моциону.

Покуда хватилась и нашла его Саломея, он уже успел вызвать на бой одного ротмистра, по червонцу, и играл преинтересную партию. У противников было по пятидесяти девяти, и дело было за одной билей, которая долго не давалась ни тому, ни другому.

– Идет пари! – вскричал Дмитрицкий.

– Пожалуй, бутылка шампанского.

– И мазу к ней пятьсот рублей<sup>60</sup>: эта биля стоит того.

– Много! – сказал ротмистр. – Господа, отвечаете за меня?

– Отвечаем! – вскричали прочие офицеры, заинтересованные партией.

– Идет! Ну, прищуривай, Агашка, на левый глаз! – крикнул ротмистр, которому был черед играть.

Все шары стояли подле борта; ротмистр решился делать желтого дублетом; ударил – шар покатился к лузе. У Дмитрицкого ёкнуло сердце, он стукнул уже кием об пол. Но шар остановился над самой лузой.

– Стой, друг! Отдаете партию? – вскричал Дмитрицкий, видя, что ротмистр с досады бросил кий.

– Извольте играть! – сказали офицеры.

– Не верите? да это стыдно играть! – сказал Дмитрицкий и наметил в шар, который стоило только задеть, чтобы он свалился в лузу.

В это самое время Саломея, закрытая вуалем, взглянула в

---

<sup>60</sup> *Маза* – прибавка к ставке в карточной игре.

двери и, не зная, что Дмитрицкий в таком положении, когда *под руку* опасно звать, крикнула нетерпеливым голосом:

– Николай!

– Промах! партия! – вскричали офицеры.

– Пьфу! – вскричал Дмитрицкий, швырнув кий на бильярд.

– Пора ехать, – сказала Саломея.

– Да что мне пора ехать! Черт знает что! Кричать под руку! Да подите, пожалуйста!

Саломея вздрогнула: так прикрикнул на нее Дмитрицкий.

– Эта партия не в партию, господа, – сказал он, – надо переиграть!

– Нет, очень в партию, – сказал ротмистр, – если хотите, новую.

– Извольте! – сказал Дмитрицкий, – на квит!

Руки его тряслись от досады; с ним не опасно было играть.

Он проиграл три раза на квит и, ясно чувствуя, что не может играть, бросил кий.

За пазухой у него было только три тысячи, отложенные из шкатулки, на дорогу; целой тысячи не доставало. Это для него было хуже всего: ключ от шкатулки был у Саломеи, надо было просить у нее денег.

– Остальные сейчас принесу, господа, – сказал он, уходя в свою комнату.

Саломея сидела на диване, закрыв глаза руками. В ней боролись две страсти – молодая любовь с старой гордостью.



– Помилуй, друг мой, что ты сделала со мной! – сказал Дмитрицкий, подходя к ней.

Саломея ничего не отвечала. – Я, впрочем, тебя не виню, ты не знаешь условий бильярдной игры; но ты могла меня осрамить.

– Чем я вас осрамила? вы меня осрамили!

– Хм! теперь у меня вспыльчивость прошла, и потому я тебе объясню, в чем дело. Ты не знаешь, что на бильярде есть такая легкая биль, что тот, кто не сделает ее, должен лезть под бильярд. Ты крикнула под руку, я дал промах и должен за неисполнение условия или драться на дуэли, или откупиться суммой, которую с меня потребуют. Под бильярд, разумеется, я не полезу, платить четыре тысячи из твоего капитала также не хочу, так прощай покуда.

– Никоей! Николай! – вскричала Саломея, удерживая Дмитрицкого за руку, – я тебя не пущу!

– Нельзя, душа моя, честь выкупается кровью или жизнью.

– Ты меня не любишь! ты не считаешь моего своим!..

– О, теперь я вижу, что ты моя, что твоя любовь беспредельна!.. прости же за недоверчивость!

– Сколько же тебе нужно, друг мой, денег? вот ключик от шкатулки... отдай им поскорее!

– Да, и поедем поскорее отсюда! Мерзавцы, рады, что получили право содрать с меня сколько хотят! – сказал Дмитрицкий, вынимая из шкатулки деньги.

– Это я виновата.

– Полно, пожалуйста; ну чем ты виновата, что не знала условий; да и такие ли есть: например, я бы сел играть в карты – а ты, из удовольствия всегда быть со мною, вздумала бы сесть подле меня или даже стоять подле стола – просто беда. тотчас подумают, что ты пятый игрок и крикнут: «Под стол, сударыня!» Вот и причина дуэли.

– О, я уверена, что ты не играешь в карты!

– Напротив, играю и большой охотник.

– Нет, cher<sup>61</sup>, я не верю тебе; ты поэт, известный литератор, ты не бросишь время на карты, ты посвятишь его любви и вдохновению.

– Нет, душа моя, об литературе мне больше ни слова не говори; а о поэзии ни полслова, – я тебе запрещаю.

– Почему же, друг мой?

– Ни почему, так, запрещаю без причины.

– Это странно! мне ты не хочешь сказать.

– Чтоб сказать, надо объяснить причину, а причины нет: что ж я тебе скажу?

– Не понимаю!

– Ну, и слава богу.

– Такой известный поэт и так вооружен против литературы.

– Известный? неправда! Ты что читала из моих сочинений?

---

<sup>61</sup> Милый (франц.).

– Ах, да мало ли... я и не припомню заглавий...

– Да, конечно, заглавия произведений известных сочинителей очень трудно припоминать, потому что у них всегда какие-нибудь мудреные заглавия; ну, а не помнишь ли так что-нибудь, какую-нибудь тираду из моей поэмы?

– Ты таким тоном говоришь, что я, исполняя твое запрещение говорить о литературе, умолкаю.

– Увертка бесподобная, истинно светская! Видишь ли, душа моя, что причина сама собой объясняется: ты не читала моих сочинений, потому что я ничего и никогда насочинял.

– Ах, оставим, пожалуйста, разговор о литературе!

– И прекрасно: взаимное запрещение. Едем, едем, путь далек!

До Киева особенных происшествий с нашими беглецами не случилось. В Киеве Дмитрицкий остановился в гостинице у жида. Тут он дышал свободнее, как человек светский, который приехал домой, где имеет уже право сбросить с себя все одежды приличия и быть тем, чем он в самом деле есть: сбросить все прикрасы с грешного тела и посконной души, все чужие перья, несвойственную любезность, принужденную улыбку, терпимость и угодливость, мягкий голос, все признаки ума, познаний и свойств человеческих, и – явиться в своих четырех стенах, с успехом или неуспехом, с сытой или проголодавшейся душой. Тут, как ловчего кречета, кормит он ее сырым мясом всего окружающего. Она клюет сердце всех домочадцев и всей челяди. От этого корму

ему убытку нет; сердце каждого человека, как у Прометея, выклеванное днем, заживает во время ночи<sup>62</sup>. А кто же из окружающих какого-нибудь жирного или желчного Юпитера не Прометей? Кто похитил, хоть ненароком, миг его спокойствия, тот и Прометей.

У Дмитрицкого не было ни чад, ни домочадцев, у него в зависимости была только Саломея Петровна; но она была такое грандиозное или, по-русски, великолепное существо во всех своих приемах, такое тяжелое, натянутое, надутое, напыщенное, приторное, что Дмитрицкий во время дороги часто вскрикивал:

– Фу! какая обуза! мочи нет! – и, расправляя свои члены, потягивался.

– Ты устал, mon ami<sup>63</sup>, от дороги? – повторяла нежным голосом Саломея.

– Устал, душа моя, всего разломило, голова одурела! Приехав в Киев, он вскрикнул:

– Фу! здесь надо отдохнуть; ты покуда распорядись всем, а я пойду похлопочу о найме дома, потому что действительно неприятно стоять в трактире.

– Ты всегда поздно соглашаешься с моими словами, – заметила Саломея, – но зачем же тебе идти самому, пошли ко-

---

<sup>62</sup> В греческой мифологии Прометей – бог огня; вопреки воле высших богов он дал людям огонь, за что по повелению Зевса был прикован к скале, где орел каждый день выклевывал ему печень, вновь вырастающую за ночь.

<sup>63</sup> Мой друг (*франц.*).

го-нибудь — я умру со скуки.

— Кстати, я озабочусь о поваре, который бы умел готовить для тебя французский стол.

— Ах, да, я совсем не могу кушать того, что здесь подают.

— Знаю, знаю; я видел, что ты только из угождения мне не умерла, друг мой, с голоду. Но я распоряжусь, чтоб сделать твою жизнь раем. Прощай, мой ангел, на минутку.

Минутка тянулась за полночь. Саломея в отчаянии; она разослала всех факторов, состоящих при гостинице, и всех жидков, предлагающих путешественникам свои услуги с улицы, через окно.

Жи́ды-факторы такой народ — на дне моря отыщут все что надо и кого надо.

Все они по очереди отыскиали Дмитрицкого в одном из номеров другой гостиницы, в честной компании; все по очереди докладывали ему, что, дескать, барыня, васе благородие, прислала за вами. Всем было ответ:

— Убирайся, проклятый жид, да если ты скажешь, что нашел меня, так я тебе вместо вот этого полтинника рожу переверну на затылок, слышишь? Ну, пиль, собака!

Жид брал деньги и возвращался к Саломее Петровне с докладом, что не нашел барина.

Десятому посланцу, прибывшему уже около полуночи, Дмитрицкий велел сказать барыне, что барин в гостях у графа Черномского, ужинает и сейчас воротится.

Саломея успокоилась; но, верно, ужин долго продолжал-

ся, потому что Дмитрицкий воротился перед рассветом.

– Ну, душа моя, – сказал он входя, – я здесь нашел целый полк товарищей, сослуживцев и тьму знакомых. Граф Черномский, старый сослуживец, затащил к себе, засадил в карты, я отговаривался – куда! Да вот что хорошо: знаешь ли, что я покупаю в Крыму Алушту – это рай! Самое лучшее и богатейшее имение, приносит доходу от одних грецких орехов сорок тысяч, да виноградные сады дают двадцать пять тысяч, да крымских яблоков тысяч на десять, не считая апельсины, фисташки, персики, дыни, арбузы, неподобный меблированный дом со всеми принадлежностями... на самом берегу моря.

– Ах, как это очаровательно!

– И это по случаю; я дал уже задатку пять тысяч.

– Но как цена?

– Миллион.

– Миллион! помилуй, где ж нам его взять? у нас только сто тысяч.

– Помилуй, душа моя, да ты не знаешь, что значат сто тысяч наличных в руках оборотливого человека. Ведь это то же, что храбрая стотысячная армия, которою можно не только разбить миллион войска, но покорить весь свет.

– Ah, cher<sup>64</sup>, как ты поэтизируешь!

---

<sup>64</sup> Милый (франц.).

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.